

А. БЛОК

СИБОРИЯ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
малая серия № 56



АЛЕКСАНДР БЛОК

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТОМ I

Вступительная статья,
редакция и примечания
В.Л. Орлова

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1938

Отв. редактор Н. Л. Степанов,
Техн. редактор А. Кирнарская.
Корректор А.И. Сарибан. Худож-
ник В. Двораковский. Тираж 10000.
Ленгорлит № 3110. С. П.—111|Л.
Сдано в набор 10|IX 1937 г. Под-
писано к печати 26|VIII 1938 г.
Форм. бум. 70Х108 64. Бум. л. 25|8.
Кол. зн. в 16. л. 149000. Уч.-а. л. 11,33.
А. л. П. Печ. л. 10|4. Отпечатано
в 21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова,
Ленинград, Звенигородская, 11.
Заказ № 209.

1 р. 50 к. Переплет 1 р.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Мы—деги страшных лет России...

Ал. Блок

Блок однажды применил к себе слова Чаядева: «Лучшие идеи, от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средства прийти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что ему последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире». Блок был носителем многих высоких и прекрасных идей. Но и вооруженный ими, он оказался бессилен разрешить противоречия «страшного», по его же определению, мира капитализма, в котором ему суждено было провести большую часть жизни.

В самом деле, пожалуй, никто другой из больших русских поэтов не шел столь трудным и извилистым путем, каким шел Блок. Ему довелось жить и творить в очень

сложных исторических условиях, налагавших на художника особую ответственность. Он начал писать в конце девяностых годов, окончательно сложился как поэт на кануне революции 1905 г., последние его крупные произведения — «Двенадцать» и «Скифы» — были созданы уже после Октября. Таким образом, творческий путь Блока целиком укладывается в эпоху подготовки и осуществления величайшего в истории человечества революционного перелома, когда в России рушился старый мир и закладывались основы нового, социалистического, мира. Он сам определял свой путь как «путь среди революций».

Имя Блока теснейшим образом связано с историей русского символизма как имя крупнейшего представителя этой ведущей школы в русском буржуазно-дворянском искусстве XIX века. Однако решать «проблему Блока» исключительно в рамках истории символизма — было бы неправомерно. Нужно установить в отношении Блока широкую историческую перспективу. Именно в такой перспективе он вырастает в последнего великого поэта старой, дооктябрьской России. При этом обнаруживаются очень глубокие и прочные генетические связи Блока с русской и западноевропейской классикой XIX века, ясно определяется место, занимаемое им в историческом ряду, на магистрали большого русского искусства.

Блок был поэтом огромной силы, генеральным художником слова, высоко поднявшимся над «школою русского символизма». К вершинам своего творчества он пришел не только независимо от декадентско-символистской культуры, но и вопреки ей. И в первую очередь это обстоятельство обеспечивает творчеству Блока, в лучшей его части, почетное место в том художественном наследии буржуазного мира, которое остается в железном фонде социалистической культуры.

Александр Александрович Блок родился 16 ноября 1880 г. в Петербурге. По происхождению, воспитанию и семейным связям он принадлежал к верхушке дворянской интеллигенции. Среди предков и родственников его насчитывается несколько выдающихся ученых и профессиональных литераторов. Отец поэта был профессором-государствоведом и философом. Блок его почти не знал: родители поэта разошлись, когда ему было всего несколько месяцев.

Блок рос и воспитывался (в Петербурге и в подмосковной усадьбе Шахматово) в семье своего деда со стороны матери — профессора-ботаника и видного общественного деятеля А. Н. Бекетова, в условиях полного культурного и материального

благополучия. С этой семьей Блок был тесно связан и в свои зрелые годы.

Бекетовы, в прошлом состоятельные помещики, утратили прямые связи с поместным бытом и, конечно, были органически включены в обстановку буржуазного экономического и общественного быта. Но они в значительной мере жили еще стародворянскими традициями сословной и культурной обособленности от мещанской пошлости и откровенно-торгашеских «идеалов» буржуазного мира, — смягчая эти традиции прекраснодушным либерализмом Тургеневского склада, верностью «граждanskим святыням» сороковых годов.

Высокое представление о передовой дворянской интеллигенции, как хранительнице заветов национальной культуры, было глубоко усвоено Блоком в пору его молодости и наложило известный отпечаток на его общественное и художественное сознание.

Очень большую роль в бекетовской семье играла литература. Здесь ее не только ценили и тонко понимали, но и занимались ею — одни дилетански, другие — профессионально. Бабушка Блока была известной переводчицей, его мать и тетки писали и переводили в стихах и в прозе.

Неудивительно, что и Блок рано проявил свои художественные наклонности. «Сочинять» он стал с пяти лет, и это было естественным в семье, где все, начиная

с бабушки, писали стихи, где литература была явлением быта.

В своей автобиографии Блок отметил, что в бекетовском доме «господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах» и что «ни строчки так называемой новой поэзии он не знал до первых курсов университета».

Это обстоятельство важно учесть. Несколько архаистические литературные вкусы и мнения Бекетовых оказали на Блока существеннейшее воздействие и целиком определили характер его юношеской лирики, в которой нашли свое продолжение традиции русской классической поэзии. Однако Блок усваивал эти традиции не из первоисточника, скажем — не у Пушкина и не у Лермонтова, а у «чистых лириков» второй половины XIX века, у которых реалистические принципы пушкинской классики были уже глубоко и разносторонне деформированы элементами импрессионистического стиля.

Наиболее близкие молодому Блоку поэты — Полонский и Фет. В своей юношеской психологической и пейзажной лирике (стихи цикла «Ante lucem» и примыкающие к ним по времени) Блок преимущественно варьирует их темы, ученически копирует их изобразительную манеру, их романесные и медитативные интонации.

Был подхвачен Блоком и «жестокий», надрывный романс Апухтина с его подчерк-

нuto-эмоциональным мелодическим строем, ориентированным либо на «цыганщину», либо на «прозаизм», на интонацию обыденной разговорной речи.

Большинство ранних стихов Блока (периода 1897—1900 гг.) отмечено непреодоленным влиянием Фета, Полонского и романской «цыганщины» (Аполлон Григорьев — имя очень значительное для Блока уже в пору его юности). В дальнейшем это влияние несколько ослабевает (но никогда не затухает окончательно) — с тем, чтобы с новой силой (и совершенно по-новому) зазвучать через много лет, в стихах «третьего тома».

В 1901 г. Блок окончательно осознал себя поэтом. Он сам считал этот год «исключительно важным», решившим его судьбу. Именно в это время, «в связи с острыми мистическими и романническими переживаниями всем существом [его] овладела поэзия Вл. Соловьева» (Автобиография).

Вл. Соловьев был по преимуществу мыслителем, — столпом и оплотом русской идеалистической философии конца XIX века. Как поэт он стоит в ряду «чистых лириков», ближе всего к Фету. Однако существенным отличием стихов Соловьева является то, что это стихи философа, служившие всего лишь своеобразным поэтическим вариантом его метафизических построений.

В основе этих построений лежали религиозно-мистические идеи католического

склада, сочетавшиеся с характерными для религиозного сознания надеждами на «предсказанные» в Апокалипсисе «конец мира» и наступление «эры третьего завета», когда будут благополучно разрешены все противоречия, искони заложенные в природе и человеке.

Религиозно-мистическая идея обновления мира воплощена была Вл. Соловьевым в образах Софии-Премудрости, Мировой Души, Девы Радужных Ворот и Вечной Женственности, заимствованных из учений гностиков и других представителей мистической философии древности.

Знайте же: Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет —

так сформулировал Вл. Соловьев свой основной тезис.

Особо важную роль играло при этом заложенное еще Платоном и разработанное новоплатониками учение о «потустороннем», «незримом очами» мире сверхчувственной, якобы подлинной и высшей, реальности, всего лишь отражением которой является видимая и постигаемая опытом действительность.

В глухие «победоносцевские» годы, в условиях жесточайшей политической реакции, форсированного наступления капитализма и уже ясно определившегося нового революционного подъема — завершився процесс распада идеалистической

мысли, вырождавшейся в средневековую поповщину. Соловьевство имело все данные для того, чтобы стать символом веры отдельных групп молодого поколения деградирующей дворянской интеллигенции, не приемлющих ограниченный и пошлый мир капиталистической цивилизации, и в то же время пытавшихся оказать сопротивление еще более чуждой и враждебной их сознанию революционно-материалистической идеологии.

Сопротивление это шло по разным линиям, но все они сходились в одной точке. Разнообразные мистические учения сплетались воедино с идеями антисоциального индивидуализма (в его самом реакционном, ницшеанском варианте) и пессимистической философии Шопенгауэра. В области искусства подобные тенденции нашли наиболее четкое и прямолинейное выражение в художественных теориях и творческой практике декадентов и выросших из декадентства символистов. Ими утверждались принципы эстетизации искусства, освобождения его от задач «служения» вопросам общественным и отказа от художественных традиций реализма в пользу субъективно-идеалистических теорий.

К усвоению мистических идей Вл. Соловьева Блок был подготовлен не только своим ощущением «новых знаний и предчувствий», которыми, по его словам, был насыщен воздух на рубеже XIX и XX вв.,

но и прилежным чтением классиков идеалистической философии, в первую очередь Платона (летом 1900 г.). И только год спустя, — указывает Блок, — «все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева». Тогда же он впервые познакомился с декадентско-символистской литературой, «и Брюсов (особенно), — говорит Блок, — окрасился для меня в тот же цвет». Июнем 1901 г. датировано «соловьевское» стихотворение Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо», давшее основной тон всему циклу «Стихов о Прекрасной Даме».

Ученнический период Блока был очень непродолжителен. В основе его работы над стихом лежал метод символического импрессионизма. При этом Блок, конечно, опирался на творческий опыт таких поэтов, как Фет и Вл. Соловьев (следует учесть также влияние, оказанное на него некоторыми из старших символистов, в первую очередь — З. Гиппиус и В. Брюсовым), но уже в стихах 1901—1903 гг. он сложился в поэта с «необщим выражением» своего творческого облика, сумел создать свою индивидуальную поэтическую систему.

Это была поэзия неясных намеков, неуловимых и непереводимых на язык логического мышления мистических переживаний, объединенных лишь образом Прекрасной Дамы во всех его многообразных преломлениях (Таинственная Дева, Царица, Вечная Жена, Владычица Вселенной, Дева-

Заря-Кушина и т. д.). Слово при этом утрачивало свой точный предметный смысл, употреблялось в предельно расширенном значении, образ абстрагировался и, как правило, создавался путем сложных метафорических построений, и весь строй стиховой речи закреплялся интонационно, будучи основан, главным образом, на эмоциональном звучании мелодии.

Лирика молодого Блока не только внеисторична, она — вневременна; в ее отвлеченных образах начисто игнорировано конкретное содержание явлений объективной действительности:

Жизнью шумящей нестройно взволнован;
Шопотом, криком смущен,
Белой мечтой неподвижно прикован
К берегу поздних времен —

такие стихи (и десятки аналогичных им; можно привести еще более выразительный пример — «Я вышел в ночь — узнать, понять») — многосмысленны; каждое слово, каждый образ в них символистичны, служат условными знаками, выражаяющими некую тайную сущность, доступную лишь сознанию мистика. Подобные стихи вовсе не заумны, но они действительно не переводимы на язык логики. В конце жизни (в 1918 г.) Блок начал составлять комментарий к «Стихам о Прекрасной Даме», но его толкования только лишний раз свидетельствуют, что расшифровка блоковских

символов путем раскрытия вложенного в них субъективного мистического смысла — занятие совершенно бесполезное.

Однако, и независимо от своего мистического содержания, «Стихи о Прекрасной Даме» существуют как явление искусства, как лирика любви и природы, вызывающая непосредственные художественные впечатления. И хотя они не составляют лучшей части творческого наследия Блока и по своему историческому значению не могут идти ни в какое сравнение с его позднейшими стихами, — в них заключена цельная поэтическая система, во многом определившая дальнейшие судьбы русского стиха.

Недостаток места не позволяет остановиться здесь сколько-нибудь подробно на вопросах поэтики Блока, уже в юношеской лирике выступившего с коренной реформой всех изобразительных средств стиха. Он заново решал проблемы мелодики, ритмики и метрики, разрабатывал совершенно новые на русской почве формы тонического стихосложения («дольники»), основанного на принципе счета ударений, а не слов:

Кто знает, где это было?
Куда упала Звезда?
Какие слова говорила,
Говорила ли ты тогда?

(1902)

По-своему решал Блок и проблему образа поэта — проблему, имеющую в отношении его творчества вообще исключительно важное значение. Александр Блок — это и есть единственный лирический герой его стихотворений, составляющих в совокупности как бы единый автобиографический цикл (сам Блок предлагал рассматривать все свое творчество, начиная с 1897 г., как «дневник», как «роман его жизни»). В позднейшее время (во «втором» и «третьем» томах) этот центральный для Блока лирический образ усложнился, но уже в ранних стихах он приобретает четкие портретные очертания:

Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок...

Жизнь Блока в годы юности протекала без особых событий, преимущественно все в том же узком семейном кругу. Весною 1897 г. он ездил за границу (в немецкий курорт Бад Наугейм, который ему довелось посетить еще дважды — в 1903 и 1909 гг.). Осенью 1898 г., по окончании гимназии, он поступил на юридический факультет петербургского университета. Впоследствии он признался, что «желал более всего облегчения занятий и выбрал юридический факультет, как самый легкий». К своему новому делу Блок относился с полным равнодушием, но только в 1901 г., перейдя уже на третий курс, убедился окончательно, что

совершенно чужд юридической науке, и перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета (которое и окончил в 1906 г.).

В юности Блок пережил сильное увлечение театром и одно время мечтал даже о поступлении на сцену. Он был организатором и главным участником любительских спектаклей, устраивавшихся в Шахматове и в соседнем имении знаменитого химика Д. И. Менделеева (старики Бекетовы были дружны с Менделеевым; в 1903 г. Блок женился на его дочери — Любови Дмитриевне).

Литературные связи Блока постепенно расширялись. В начале 1902 г. он познакомился с Д. Мережковским и З. Гиппиус и стал постоянным посетителем их салона, где встречался со многими писателями, философами и «религиозно-общественными» деятелями. Проповедывавшиеся Мережковским и его присными «неохристианские» идеи произвели на Блока сильное впечатление. Впрочем, он очень быстро разочаровался в мережковщине и на почве «соловьевства» сблизился с кружком московских мистиков, собиравшихся в родственной ему семье О. М. и М. С. Соловьевых (М. С. был братом философа). В кружок этот, наряду с представителями старшего поколения, входили Андрей Белый, сын Соловьевых — Сергей и другие молодые люди, начинавшие в ту пору свою лите-

ратурную деятельность и примкнувшие к символистскому лагерю. Несколько позже они составили особый кружок «аргонавтов», к которому Блок также был близок. Соловьевы и их друзья были первыми, кто по достоинству оценил стихи Блока; они же главным образом создали ему известность в символистских кругах.

2

Достоянием более или менее широкого круга творчество Блока стало весною 1903 г., когда стихи его впервые появились в печати. Полтора года спустя вышла первая книга Блока «Стихи о Прекрасной Даме».

Книга подводила итоги раннего периода творческой работы Блока, и в то же время в заключительных разделах ее наметились уже новые и в достаточной мере неожиданные у певца Вечной Женственности тенденции. Для того чтобы выяснить их происхождение, следует учесть два момента.

Во-первых, в ранних стихах Блока с началом религиозно-мистическим явно борется начало существенно-иное, которое сам поэт совершенно верно называл «декадентским». Лирика молодого Блока была двойственной, и он неоднократно подчеркивал эту двойственность — хотя бы в стихотворении 1902 г. «Люблю высокие со-
боры» (стр. 39). Подобные стихи звучат

резким диссонансом среди мистико-романтических гимнов Прекрасной Dame. Сюда же относятся проходящие сквозь раннюю лирику Блока темы арлекинады и «двойника», подхваченные и развитые им впоследствии. Юношеский дневник Блока более ясно, нежели стихи, свидетельствует о том, насколько полонила его не только мистика соловьевского толка, но и самая доподлинная декадентщина. Он писал (в 1902 г.), что «разрежает свою сгущенную атмосферу жестокой арлекинадой», граничащей с фантастикой Достоевского.

Сам Блок понимал под своим «декадентством» путь, уводящий из «потемок» соловьевства на «свет божий». Переоценивать подобные тенденции не следует: мировоззрение Блока оставалось прежним, мистическим по самой своей природе; субъективно воспринятые явления реальной действительности, если и находили в ту пору частичное отражение в его стихах, то всегда в искаженных, фантастических и гротескных очертаниях, в глубоко мистифицированных образах. Тем не менее, даже эти робкие попытки Блока преодолеть «чрезмерную сказочность [своего] недавнего мистицизма» (о чем он сообщал отцу летом того же 1902 г.) сыграли известную положительную роль в его идеально-творческом развитии.

Во-вторых, самое соловьевство Блока нужно понимать все же более или менее

ограниченно. Глубоко усвоив мистическую идею Вечной Женственности, Блок остался совершенно чужд теократическим увлечениям ортодоксальных соловьевцев, какими были его друзья — «аргонавты». Вл. Соловьев был воспринят Блоком только как поэт; стихи его были для Блока «единственным в мире откровением», а богословские сочинения — «скучой и прозой».

С точки зрения правоверных соловьевцев такие признания были кощунством, и характерно, что несколько лет спустя они первые объявили Блока «мнимым мистиком». И они же первые почувствовали, что Блок очень быстро разуверился в соловьевстве, как религиозно-эстетическом мировоззрении. Во всяком случае, Сергей Соловьев доказывает, что в 1903 г. настроение Блока «уже заметно менялось... к идеям Соловьева он охладевал». Далее Сергей Соловьев пишет, что в образе блоковской Прекрасной Дамы «явно сквозят земные черты», что «это не столько София, сколько «Мадонна» итальянских мастеров или «Царевна-лебедь» русских сказок. Мистическое постижение Вл. Соловьева заменяется здесь художественной фантазией и иногда стилизацией». Замечанию этому нельзя отказать в большой меткости.

Действительно, Прекрасная Дама Блока не равнозначна соловьевской Софии-Премудрости. При этом нельзя недоучитывать того обстоятельства, что в основе отвле-

ченно-мистических тем и образов, разрабатывавшихся Блоком, лежал «земной», вполне реальный роман его с невестой. Для многих ранних стихотворений Блока можно найти чисто биографическое истолкование. В этом смысле «Стихи о Прекрасной Даме» — двупланны: конкретные чувства и переживания поэта совмещены в них с мистическими идеями, даны как бы в обложке этих идей.

К примеру, такую строфу, как:

Сегодня шла Ты одиноко,
Я не видел Твоих чудес.
Там, над горой Твоей высокой,
Зубчатый простирался лес, —

можно толковать двояко — и как обращение к «Вечной Жене» (что подчеркнуто прописной буквой в слове «Ты») и как обращение к Л. Д. Менделеевой, жившей за «зубчатым лесом», отделявшим Шахматово от Боброва, расположенного на «высокой горе». Можно взять другое стихотворение, одно из наиболее насыщенных религиозно-мистическими образами — «Я их хранил в приделе Иоанна» (см. стр. 51). Дата этого стихотворения раскрывает его второй «реальный» смысл: накануне, 7 ноября 1902 г., произошло решительное объяснение Блока с невестой.

Уже в «Стихах о Прекрасной Даме» «конкретное» нередко вытеснило «отвлеченное», художник сплошь и рядом побе-

ждал в Блоке мистика, и художественная функция того или иного образа, заимствованного из арсенала соловьевской мистики, оказывалась для него дороже его «тайного» смысла. Вообще нужно сказать, что и тогда уже какой-то внутренний и еще не осознанный протест художника боролся в Блоке с усвоенной им у Вл. Соловьева и Мережковского идеей религиозной природы искусства. Весной 1902 г. он записал: «Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию?»

В дальнейшем декадентское начало побеждает в Блоке начало религиозно-мистическое. Дружба его с правоверными соловьевцами оказалась очень непрочной; к концу 1903 г. он действительно уже далеко отошел от круга их идей, тем и интересов. Испытывая сильнейшее влияние Брюсова, Блок вщет новых, более «земных» вдохновений. В стихах его впервые появляется тема капиталистического города, как «страшного мира», разработанная еще в аспекте апокалиптических представлений (характерных и для тогдашнего Брюсова), но уже знаменующая выход поэта из его узкого мирка, из его келейного уединения.

Обращение Блока к новым темам сопровождалось настойчивыми поисками новых стилистических и языковых возможностей. Он резко ломает установившуюся в его ранних стихах манеру, опрощает

свой словарь, предельно расширяет свои опыты в области разработки чисто тонического стиха (за счет отступления от традиционных ямбов и хореев) и деканонизации точной рифмы. Вот, например, характерные строфы стихотворения «Из газет», написанного в конце 1903 г. (характерно уже и самое заглавие):

Прошли часы. Приходил человек
С оловянной бляхой на теплой шапке.
Стучал и дожидался у двери человек.
Никто не открыл. Играли в прятки...

Дети прислушались. Отворили двери.
Толстая соседка принесла им щей.
Сказала: — Кушайте. Встала на колени
И, кланяясь, как мама, крестила детей.

«Оловянная бляха» и «щи» на фоне высоких молитв Прекрасной Даме и романтических мечтаний о «мирах иных» не могли, конечно, не смутить друзей и поклонников Блока из соловьевского лагеря. Пути их круто расходились врозь.

Еще более существенным было то, что в 1903 г. в стихах Блока впервые начинает звучать социальная тема. Если раньше он был слеп и глух к окружавшей его реальной действительности и писал:

Душа молчит. В холодном и ебе
Все те же звезды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе

Народы шумные кричат...
Она молчит, — и внемлет крикам,
И зрит далекие миры, —

не замечая того «близкого» мира, в котором он жил сам, — то теперь этот лживый и позорный мир капитализма представал пред ним во всей своей наготе. И важно, что Блок сразу же заявил себя противником этого мира: к 1903 г. относится сильное стихотворение «Фабрика», запрещенное цензурой за выраженное в нем сочувствие к жертвам капиталистической эксплоатации.

Процесс изживания Блоком соловьевства, как религиозно-эстетического мировоззрения — есть явление, конечно, исторически обусловленное. Огромную роль в прояснении социального и художественного зрения Блока сыграли революционные события 1904—1905 гг. Революция открыла Блоку, по собственным его словам, «подлинное лицо проснувшейся жизни», до тех пор задернутое для него флером мистико-романтических представлений. Она пробудила в нем присущее всякому подлинному и большому художнику чувство «гражданственности». Известно, что его прежнее равнодушие к окружающей жизни сменилось живым интересом ко всему происходящему; он следил за ходом революционных событий, за настроениями рабочих и даже участвовал в какой-то демонстрации, неся во главе ее красное знамя.

Блок приветствовал «важное, великое, радостное»¹ время революции в целом ряде стихотворений («Поднимались из тьмы погребов», «Барка жизни встала», «Шли на приступ...», «Митинг», «Вися над городом всемирным», «Еще прекрасно серое небо», «Сытые» и др.). При этом его революционные симпатии были отнюдь не на стороне буржуазных либералов. Революция была дорога ему именно своей направленностью против капитализма.

Блок страстно и горячо ненавидел всю пошлость и мерзость буржуазного мира, и, поскольку революция разрушила этот «страшный» мир эксплоататоров и угнетенных, «сытых» и «несчастных, просыщих хлеба», — он приветствовал ее как зарю новой истории человечества. Однако, по всему складу своего разорванного и противоречивого мировоззрения, отравленного ядами мистики и декадентского субъективизма, он в 1905 г. оказался не в состоянии вникнуть в подлинный смысл революции, не сумев освободиться ни от своего «декадентства», ни от своего индивидуализма. И даже из своей ненависти к буржуазии он не сделал ни одного подлинно революционного вывода; бичуя буржуазию гневными и грубыми словами в стихотворении «Сытые», он оборвал его брезгливым

¹ Здесь и дальше в кавычки без оговорок взяты слова Блока.

жестом: «Пусть доживут свой век привично».

Максималистские настроения Блока оказались неустойчивыми. После поражения революции он «отчаялся в своих лучших надеждах». В декабре 1905 г. он писал: «Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу (из «общественности»), отбросив то, чего душа не принимает... Никогда я не стану ни революционером, ни «строительем жизни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний».

Но к утешениям религиозной мистики Блок больше уже не возвращался. Самая тема Прекрасной Дамы оказалась исчерпанной, и дальнейшие вариации ее были бы только повторением сказанного. Второй свой сборник — «Нечаянная Радость», куда вошли стихи 1904—1906 гг., сам Блок назвал «переходной книгой», в которой «душа в буйном восторге поет славу новым чарам и новым разувернениям». Этот «переходной» период ознаменовался в творчестве Блока более глубоким вовлечением его в сферу декадентских идеино-художественных воздействий. Декадентство и эстетизм — вот что характеризует «новые чары» Блока.

Разуверившись в религиозной мистике, доказывая теперь, что «истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией», Блок нашел новую «прекрас-

ную и богатую» тему «мистицизма в повседневности». Эта тема и была преимущественно разработана в стихах сборника «Нечаянная Радость» — в двух основных вариантах: своеобразной мифологизации природы («Пузыри земли») и эстетизации городской «повседневности», которой присваиваются черты «пошлины таинственной», «страшных и прекрасных видений» (характернейший пример — знаменитая «Незнакомка»). В методах разработки этой темы многое роднит Блока с Достоевским, которым он в ту пору «страшно интересовался».

При этом Блок предал жестокому осмеянию свои прежние идеальные ценности. Ироническое переосмысление мистики словьевского толка на целый период стало одной из центральных тем Блока — в ряде стихотворений и особенно в его первом драматургическом опыте «Балаганчик» (1906). Самые «глубокие» мистические темы и образы переосмыслены здесь по принципу прямой пародии и каламбура: «Дева из дальней страны», прибытия которой трепетно ждут «мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях», оказывается Коломбиной, «коса смерти» — обыкновенной женской косой, кровь — клюквенным соком, и вся мистерия оборачивается шутовским маскарадом, «балаганчиком».

Вместе с тем, сам Блок определил основную идею «Балаганчика» и других своих

ранних пьес («Король на площади» и «Незнакомка») как поиски «жизни — прекрасной, свободной и светлой, которая одна может свалить с слабых плеч непосильное бремя лирических сомнений и противоречий».

Друзья Блока — «соловьевцы» восприняли его иронию и пародию как личную обиду (Сергей Соловьев даже узнал себя в одном из карикатурных мистиков «Балаганчика»). «Балаганчик» и такие стихи, как «Болотные чертения», «Ночная Фиалка», «Поэт», «У моря» и ряд других, они расценивали как «горькие издевательства» Блока «над своим прошлым» и их собственным настоящим. В 1905—1906 гг. отношения Блока с А. Белым и С. Соловьевым были крайне напряженными, а в 1907 г. вовсе оборвались и сменились ожесточенной журнальной полемикой.

Валерий Брюсов писал по поводу «Нечаянной Радости», что в этой книге «побеждает уверенность речи, обличающая художника, вполне сознавшего свою власть над словом». Действительно, поэтический голос Блока в 1905—1906 гг. окреп, стихи его в отношении их формы и фактуры стали более совершенными, более полноценными и изысканными. Тематический диапазон Блока значительно расширился за пределы камерной любовно-психологической лирики; он обращается теперь не только к узко лирическим, но и к описа-

тельным и повествовательным формам («Ночная Фиалка» и др.). В стихах, составивших впоследствии его «второй том», Блок настойчиво преодолевал мистическую отвлеченность и крайний лирический субъективизм своих художественных восприятий и закладывал основы новой, существенно иной, поэтической системы. Система эта складывалась в борьбе двух противоречивых тенденций.

С одной стороны, Блок все более и более усовершенствует метод символического импрессионизма, предельно усложняет свой метафорический стих, разрабатывает все более сложные музыкально-словесные формы, основанные на чередовании разнообразных стиховых размеров. Поэтический язык Блока в стихах «второго тома» все более эстетизируется и приобретает отпечаток той расплывчатой «красивости», которая характеризует декадентское искусство в целом. Выразительными примерами в этом плане могут служить такие стихотворения, как: «Там в ночной, завывающей стуже», «В голубой далекой спаленке», «Шлейф, забрызганный звездами», «О жизни, дрогревшей в хоре», «Зачатый в ночь, я в ночь рожден», «Она пришла с заката» и ряд других.

Но в то же время в творческой практике Блока 1905—1907 гг. заметны тенденции обратного порядка, выражавшиеся в тяготении поэта к реалистической

конкретности и ясности языка и стиля. При этом нужно особо подчеркнуть, что такое тяготение неразрывно связано у Блока с его обращением к социальным темам. В стихах «второго тома» впервые у Блока появляются люди и изображается быт (хотя чаще всего еще в мистифицированных образах). Небезынтересно сравнить самый словарь «первого» и «второго» томов. Если в «Анте Iucem», «Стихах о Прекрасной Даме» и «Распутьях» он почти сплошь отвлеченный и «невещественный», то в «бытовых», «городских» стихах «второго тома» встречаем немыслимые у раннего Блока «окурки», «оплыvший огарок», «красный комод», «форточки», «дощатый забор», «телеграфиста с желтым кантом», «дворника», «проституку площадную», «измятый картуз», «золоченые гербы театральной кассы», «зловонные телеги», «крендель булочной» и т. д. и т. д.

Путь прорыва к реалистическому изображению действительности и преодоления декадентско-символистской стиховой культуры явственно различим в творчестве Блока той поры. Сюда относятся такие, к примеру, стихотворения, как: «Ты можешь по траве зеленои», «Сытые» и особенно — «Холодный день», «В октябре», «Окна во двор», «Хожу, брошу понурый», «На чердаке», объединенные Блоком (в сборнике «Земля в снегу» 1908 г.) под характерным заглавием «Мещанское житье». Стихи эти

замечательны также выраженным в них горячим сочувствием к человеку, к малым мира сего, обреченным в жертву капиталистической эксплуатации. Блок, «содрогаясь, разглядев» людей, «убитых своим трудом», и нашел для них достойные и сильные слова.

Однако попытки Блока утвердиться на путях реалистического искусства были в ту пору еще крайне слабы, эпизодичны и не нашли сколько-нибудь четкого завершения. Большинство стихов «второго тома» отмечено печатью декадентского эстетизма, своей высшей точки достигающего в «Снежной маске» (январь 1907). Этот цикл знаменует собою перелом в творчестве Блока: в нем предел его декадентства и в нем же — наметился выход на новые широкие творческие пути:

И в новый мир вступая, знаю,
Что люди есть и есть дела.
Что путь открыт наверно к раю
Всем, кто идет путями зла.

Следующим этапом творческой эволюции Блока могут служить замечательные циклы «Вольные мысли» (июнь—июль 1907) и «Заклятие огнем и мраком» (октябрь—ноябрь 1907), в которых он резко порывает с декадентской невнятней и «красивостью» и вырастает в мастера строгого и мощного стиля, в подлинного, «классического» Блока.

Блок чрезвычайно остро и болезненно переживал годы столыпинской реакции, «утомившие и истрепавшие душу и тело». Важно отметить, что, когда либеральная буржуазная интелигенция (включая в нее и близкие Блоку литературные круги), по словам В. И. Ленина, «решительно повернула от защиты прав народа к защите учреждений, направленных против народа» (Соч., т. XIV, стр. 219), когда ясно определились «пути полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями» (там же, стр. 217), когда «отречение от освободительного движения недавних лет и обливание его помоями» (там же, стр. 218) стало одной из центральных тем буржуазной литературы, — Блок занял в этих условиях особую и в высшей степени достойную позицию. Память революции 1905 г. была ему дорога. «Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся жизни», — писал он в 1907 г. — Перед глазами нашими — несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах... А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко».

В то же время Блок ясно отдавал себе отчет в том, что, хотя революция и победена, — дни старой России сочтены: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа». Он одновременно и страшится этих надвигающихся событий, несущих «верную гибель» вскормившей его культуре, и готов приветствовать их во имя уничтожения ненавистного ему «прогнившего хлева» буржуазного мира. Идея народа и народной революции отныне стоит в центре общественного сознания Блока. В событиях 1905 г. он «услышал голос волн большого моря»: «Все чаще вслушиваюсь в этот голос, от которого все мы, интеллигенты, в большей или меньшей степени отделены голосами собственных душ... Но, верно, там только — все пути».

Убедившись, что русское дворянство, как живая культурная сила, «окончательно вымерло», а в сфере государственной, политической и общественной деятельности выродилось в «православную черную сотню», гневно отворачиваясь от «нового господствующего класса» — промышленной и финансовой буржуазии, — Блок обращается к людям, «давно непонятным» ему и «справедливо непонимающим» его, — к народу. В ряде статей и публичных докладов, в драме «Песня Судьбы» и в стихотворном цикле «На поле Куликовом» он

поднимает вопрос о «пронасти», о «недоступной черте», отделяющей интеллигенцию от народа, и пытается обрести «согласительную черту», на которой интеллигенция могла бы «сойтись и сговориться» с народом.

В своем личном плане Блок осмыслил эту центральную для него проблему как путь преодоления психологии декадентства и эстетского индивидуализма. На этом пути он оказался плененным идеями «мистического анархизма» и «соборности» (выдвигавшимися Вяч. Ивановым и Г. Чулковым), рассматривая их, как попытку теоретического обоснования вопроса о связи искусства с общественностью. Но очень скоро он убедился в полной идеиной несостоятельности этих путаных и в основе своей глубоко реакционных «теорий», являющихся всего лишь одним из очередных проявлений ненавистной ему «заразы мистического шарлатанства», и со всей решительностью отмежевался от них. Путь идеино-творческой эволюции Блока шел в 1907—1908 гг. в ином направлении: он ищет целостного мировоззрения, «простоты, здорового труда и вольных дум», рад бы был бы «чувствовать себя гражданином»; «единственно возможным преодолением одиночества» представляется ему «приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью». «Может быть, главное — растет передо мною понятие «гражда-

нин», — писал Блок в 1908 г., — и я начинаю понимать, как освободительно и целебно это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной душе».

На этой почве возникает романтическое «неонародничество» Блока, представляющее собою сложную амальгаму различных идеиных напластований. В основе его лежала националистическая концепция «России», отожествляемой с «народом», «народной душой», «стихией» (понятия эти были для Блока однозначны).

В блоковском национализме явственно различимы реакционные элементы, ведущие происхождение от старой славянофильской идеи мессианического призыва русского народа; нужно также учитывать при этом напряженный интерес Блока к различным религиозным проявлениям «темной народной стихии», вроде «грозного и огромного явления сектантства». Самый образ России разрабатывался Блоком в традиции славянофильской поэзии Тютчева и Хомякова. Это — крестьянская, «дремучая», «нищая» и «прекрасная» Русь,

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины.

Но, вместе с тем, в сознании и творчестве Блока с славянофильско-национали-

стическими тенденциями боролось и побеждало демократическое начало, объективно выражавшее идею народной революции. Политически эта идея была осознана Блоком в корне неверно — в аспекте анархо-максималистских представлений, без учета ведущей и организующей роли революционного пролетариата. Революцию Блок представлял себе как новую разинщину и пугачевщину; не подлежит сомнению, что ему была внутренне близка и оказала на него существенное влияние бакунинская идея стихийного «мужицкого бунта». От подобных исказенных представлений о России, о народе и о революции Блок не сумел освободиться до конца своих дней; но его обращение к народу как к единственному источнику всякой «жизненной силы» сыграло для него исключительно важную роль и глубочайшим образом отразилось в его творчестве.

Народнические тенденции, выражавшиеся у Блока, по собственному его определению, в форме «очень отвлеченных оправданий в духе кающегося дворянина», в основном организовали его общественное и художественное сознание в годы реакции. Идеи правды, идеи верности и служения народу, красной нитью проходящие сквозь поэзию и публицистику Блока, открывали перед ним новые и широкие пути развития, которые и привели его в октябре 1917 г. к принятию пролетарской революции. При этом

нужно сказать, что Блок не имел ничего общего с современными ему последышами легального народничества, выродившимися в буржуазных либералов, чуждых интересам народа. В своем народолюбии он опирался не на их оппортунистические теории, а на боевые демократические традиции революционного народничества семидесятых годов.

Примерно в середине 1907 г. Блок пришел к совершенно новому пониманию целей и задач искусства. И на почве этого нового понимания, а никак не на почве декадентско-символистской культуры, он вырос в великого поэта, в классика русской поэзии. Эстетизму и формализму, лежавшим в основе художественных теорий и практики декадентства, он противопоставил требования «простоты» и «народности». Осознав художественную силу принципов реалистического искусства (но не находя еще полноценных способов творчески реализовать их), он становится в открытую оппозицию к своим вчерашним друзьям и соратникам и коренным образом пересматривает свои прежние эстетические взгляды. «Искусство должно изображать жизнь и проповедывать нравственность» — заявлял Блок еще в 1906 г. А годом позже писал: «Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух «келий», им хочется воздуха, широкой деятельности, здоровой работы». Следует добавить, однако,

что делать подобные заявления от имени всех символистов у Блока не было решительно никаких оснований: к реализму шел он один.

В ряде статей 1907—1908 гг. («О реалистах», «О лирике», «О драме», «О современной критике», «Литературные итоги 1907 г.», «Три вопроса», «О театре», «Вечера искусств» и др.) Блок поднимает запретные для правоверного символиста старинные «проклятые» вопросы о «пользе» искусства и «долге» художника; в корне пересматривает свое отношение к современной ему реалистической литературе, поставленной символистами вне границ «подлинного» искусства; единственный в ту пору из символистов высоко расценивает роль и значение Максима Горького как великого национального писателя; изобличает «кощунственную бесплотность» формулы: «искусство для искусства»; подвергает уничтожающей критике дешевую «красивость» и стилизаторские ухищрения, процветавшие на театре; мечтает о широкой театральной аудитории из «народных масс», из «рабочих и крестьян». Силу подлинного художника Блок видел «в сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом». В высшей степени характерно, что в 1908 г. он развивал мысль об организации журнала «с традициями Добролюбовского Современника» и намечал для него следующую «строжайшую про-

грамму»: «Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской... Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение».

Подобные заявления находились в полном противоречии с идеино-творческими установками и общественно-литературной практикой символистов. Критические и публицистические статьи Блока были встречены в их кругу крайне враждебно и расценивались как факт «измены», «попирания заветных святынь». В 1908 г. уже определился глубокий разлад Блока почти со всей символистской литературой. Но самим Блоком этот разлад был осознан несколько позже.

Вообще не следует думать, что процесс преодоления Блоком декадентско-символистской культуры протекал для него легко и безболезненно. Он сам заметил однажды (в 1909 г.): «Писатель — растение многолетнее... Поэтому путь [его] развития может представляться прямым только в перспективе; следя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений». Таким искривлением была для Блока «темная полоса убийственного опустошения», длившаяся примерно с весны 1909 по осень 1910 г.

Ненависть его к буржуазному миру, осененному столыпинскими виселицами, не

ослабевает; идея народа и народной революции попрежнему стоит в центре его внимания:

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?..
Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам...

Отвечая матерому реакционеру и «нововременцу» В. Розанову, он писал (в феврале 1909 г.): «Мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит — солдатская каска или икона, что болтается — жандармская эпитрахиль или поповская нагайка. Все это мне по крови отвратительно». И в другом письме, к Розанову же: «Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик... Революция русская — юность с нимбами вокруг лица... Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то уж конечно — только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда... все вообще непокладливое, одержанное, грозовое, пресыщенное электричеством. С этой

грозой никакой громоотвод не сладит». С уверенностью можно сказать, что таких слов не находил никто другой из символовистов.

Но в то же время Блок (отчасти в связи с личными тяжелыми переживаниями) испытывал в ту пору сильнейший упадок настроения и вообще всей жизненной энергии, что сказалось в его стремлении «уйти в самого себя», отгородиться от социальной борьбы, от «всякой политики», найти выход из окружавшего его «страшного мира» в «великом» и «вечном» искусстве: «Я считаю теперь себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают подлецы, и околевают в своих помоях». С такими настроениями весною 1909 г. Блок уехал за границу (в Италию и Германию). Здесь им все более и более овладевает мрачный, безысходный пессимизм: «Более, чем когда-нибудь, я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушиает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция... Люблю я только искусство, детей и смерть». Все это отразилось и на самом образе жизни Блока. Он «топит отчаянье в вине», в «дыганщине», в кабацкой стихии «всемирного запоя», которую воспринимает в трагическом аспекте: для него это «страшный мир», но быть в нем — «странны и сладко».

Свою убежденность, что только в искусстве можно обрести «спасение», Блок переключает в это время в плоскость нового философского и теоретического обоснования символизма как целостного мировоззрения и художественного метода. На этой почве он еще раз объединился с Вяч. Ивановым и А. Белым, и в апреле 1910 г. выступил с докладом «О современном состоянии русского символизма», в котором утверждал закономерность теургического искусства, идущего от изображения действительности «внешней» к изображению действительности «внутренней» и «высшей». При этом нужно твердо помнить, что, разуверившись в религиозной мистике соловьевского толка, Блок до конца дней оставался в плену субъективно-идеалистического мировоззрения, резко противоречившего тенденциям его художественного развития. В этом именно и заключается то основное противоречие творчества Блока, разрешить которое он был бессилен.

Статья о символизме знаменует собою тяжелый рецидив антиобщественных и мистических настроений Блока. Но уже осенью 1910 г. происходит новый перелом, не менее резкий, чем в 1907 г. Блок снова круто меняет свои пути. Он окончательно осознает, что «настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром», и пытается

творчески реализовать это убеждение в поэме «Возмездие».

В феврале 1911 г. Блок писал: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел». В дальнейшем «жизнелюбие» Блока укрепляется все более, а вместе с тем неуклонно расставляет его критическое отношение к символизму, который представляется ему теперь «мутной водой», «несуществующей школой». «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символов больше — один отвечаю за себя, один...» — записал он в дневнике в начале 1913 г.

Интерес Блока к «общественности», к социальным проблемам обостряется; к русскому правительству он питает «яростную ненависть»; во время заграничной поездки 1911 г. убеждается в «чудовищной бессмыслице» капиталистической цивилизации — этой «лужи, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду»; ему «отрадно» читать после консервативных органов — «Речи» и «Русского Слова» — социал-демократическую «Звезду»: «Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому — талантливо)... Спасибо

Горькому и даже «Звезде». После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим». Он полон предчувствий надвигающихся революционных событий — «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей» (см. «Возмездие»). «Россия... вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой» — писал он накануне империалистической войны.

Чувством ненависти к старому миру и ощущением его неизбежной гибели проникнуто творчество Блока предвоенных и военных лет. В «Ямбах» он нашел слова исключительной силы для выражения своего «правого гнева»:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, откой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне...
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет!

В поэме «Возмездие» он дал замечательную по своей широте и выразительности характеристику «железного» буржуазного века, унизвившего человеческое достоинство «под знаком равенства и братства». В целом ряде стихотворений он разоблачил всю лживость буржуазной морали, создал типический образ отвратительного ханжи и стяжателя («Грешить

бесстыдно, непробудно»). Идеей отречения от романтического индивидуализма во имя подлинной, а не «ложивой» жизни проникнута написанная в 1914—1915 гг. поэма «Соловинский сад»:

Пусть укрыла от дальнего горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловиная песнь не вольна.

Начиная с 1907 г., творчество Блока в конечном счете развивалось в сторону все более глубокого понимания и правдивого отображения действительности. В стихах «третьего тома», в поэме «Возмездие» и драме «Роза и Крест» (1912) он вырастает в поэта с широкой философской и социально-исторической проблематикой. Тематический диапазон его лирики расширяется (как ни у кого из символистов) и охватывает огромный круг идей и явлений. В основу своего творческого метода Блок кладет следующий принцип (сформулированный им несколько позже): «Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе создают единый музыкальный напор».

Лирика Блока, объединенная в «третьем томе», становится исторической в широком значении этого слова. В ее стержневых темах «страшного мира», «возмездия», «родины», «всемирного запоя», «цыганских

«страстей», «погибельных мук» и «смерти» — с силой подлинной гениальности раскрывается основное идеино-философское содержание творчества зрелого Блока, которое в самой общей форме можно определить, как трагизм существования отчаявшегося человека, трагизм человеческих переживаний в условиях распада классового буржуазного общества.

В стихах «третьего тома» Блок возрождает традиции русской классической поэзии, сближается с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым. Еще в 1909 г. он заметил в записной книжке: «Не могу писать... С прежним «романтизмом» (недоговариванием и т. д.) борется что-то, пробиться не может, а только ставит палки в колеса». В дальнейшем стихи Блока освобождаются от декадентской расплывчатости и невнятности («недоговоренности»), его словарь, ритмика и композиция оправдываются, образная система становится более реалистической, стих — более чеканным, сложные полиметрические конструкции сменяются классическими и строгими стиховыми формами. Метод символизации и самый символ приобретают в стихах «третьего тома» новое качество, выражая, как правило, не некую мистическую сущность, а явления объективной действительности (таковы, например, стихи цикла «Ямбы», в символических образах которых заключено вполне конкретное историческое содержание).

В пору полного расцвета своего дарования Блок окончательно приходит к убеждению, что формула «искусство для искусства» — «противоречит самой сущности искусства». Из этого убеждения вырастает его протест против «холодного болота бездушных теорий и всяческого формализма», против ловкого и холодного версификаторства, «узорных финтифлюшек вокруг пустынной души». Блок стоял за большое, полнокровное, идеиное искусство, определяющими чертами которого служат простота, искренность и правда, — искусство, пронизанное, по его словам, «тем огнем, в котором все и без которого ничто не мило». Проблему художественной простоты Блок настойчиво стремился решить и в собственном творчестве. Во многих случаях он достиг в этом направлении замечательных успехов (некоторые из «Итальянских стихов», «Ямбы», такие стихи, как: «Авиатор», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной», «Антверпен», «На улице — дождик и слякоть», «На железной дороге», «Грешить бесстыдно, непробудно», «Петроградское небо мутилось дождем» и др.).

Наиболее полное и четкое выражение реалистические тенденции творчества Блока нашли в поэме «Возмездие». Задуманная очень широко, в масштабах общеевропейской и русской истории второй половины XIX и начала XX вв., как общественно-бытовой «роман в стихах» с лирико-филол-

софскими «отступлениями», — поэма знаменует стремление Блока выйти за пределы индивидуалистической лирики в эпос. Ему «хотелось увидеть в русской поэзии возрождение поэмы с бытом и фабулой». Поэма, над которой Блок работал в течение нескольких лет, осталась незаконченной, но и в написанной своей части она является в русской поэзии XX в. (дооктябрьского периода) единственным крупным явлением эпического жанра. Любопытно, что на символистов поэма Блока произвела (по словам одного из них) — «ошеломляющее впечатление», «поразила свежестью зрения, богатством быта, предметностью, — всеми этими запретными для всякого символиста вещами». Вяч. Иванов, слушая поэму в чтении автора, «глядя грозой и метал громы. Он видел разложение, распад, как результат богоотступничества, преступление и гибель в этой поэме».

Вместе с тем, в «третьем томе» доведен до высокого совершенства неповторимый «блоковский» метафорический стих, интонационно ориентированный на эмоциональную мелодику старинного и специально дыганинского романса. В таких романских по своим формам и интонационному строю стихах, как, к примеру: «О доблестях, о подвигах, о славе», «О, нет! не расколдуешь сердца ты», «Черный ворон в сумраке снежном», «Опустись, занавеска линялая», «Все, что память сберечь мне

старается», «Была ты всех ярче, верней и прелестней», «Нет, никогда моей и ты ничьей не будешь», «Дым от костра струею сизой» и др., — Блок поднял на небывалую еще в русской поэзии высоту близкие ему с юных лет традиции Фета, Полонского, А. Григорьева, Апухтина и просто безыменных «дыганистов». В творчестве Блока романс — эта подчиненная песенно-декламационная форма лирической поэзии — впервые стала явлением большого литературного стиля.

Лирический голос Блока в стихах «третьего тома» приобрел исключительную силу и выразительность и утвердил за ним славу непревзойденного мастера тончайших словесно-музыкальных построений, подчиненных всем смысловым и интонационным движениям стиха.

4

Империалистическую войну Блок встретил в высшей степенидержанно. Урапатриотических настроений, охвативших буржуазно-дворянские интеллигентские круги, он не разделял; единственное его стихотворение, непосредственно связанное с военными событиями («Петроградское небо мутилось дождем»), резко выделяется своим нейтральным тоном на фоне шовинистических песнопений подавляющего большинства тогдашних поэтов. Вскоре, уже на второй год войны, пацифистские на-

строения Блока переросли в решительное отрицание «бессмысленной» бойни. В замечательном стихотворении «Кориун» он поднялся до отрицания империалистической войны с подлинно-народных позиций.

Летом 1916 г. Блок был призван в армию. Февральская буржуазно-демократическая революция застала его в прифронтовой полосе в инженерно-строительной дружине Союза земств и городов. В марте он вернулся в Петербург.

Крушение самодержавия Блок воспринял как «начало жизни»: «Произошло то, чего никто еще оценить не может, таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России... Для меня мыслами и приемлема будущая Россия, как великая демократия». Важно отметить, что Блок сразу осознал подлинные масштабы революции и убедился в неизбежности ее нарастания; свержение самодержавия было, с его точки зрения, только прелюдией еще не развернувшихся событий.

Почти с самых первых дней февральского режима Блок испытывал чувство неудовлетворенности и некоторого разочарования. Правда, реальная расстановка классовых сил и перспективы дальнейшего развития революции были ему не ясны: он находил, что «кадеты правы», но тут же добавлял, что «и в большевизме есть страшная правда». Однако, «все кадетское»

Блока «ужасно беспокоит» своим «благополучием», «неумением и нежеланием радикально перестроить строй души и головы». В июне он отказался от приглашения в кадетский клуб на том основании, что «склоняется к с.-р., а втайне — и к большевикам», «к интернациональной точке зрения». Симпатии его — на стороне «всего революционного народа», обладающего «социальногалистической психологией», «умного, спокойного и понимающего то, чего интеллигенции не понять».

Очень крупную роль в формировании оппозиционных настроений Блока по отношению к февральскому режиму сыграло резкое неприятие им выдвинутого буржуазными партиями лозунга продолжения войны «до победного конца». Белоэмгрантка З. Гиппиус в своих воспоминаниях о Блоке рассказывает, что на ее вопрос (показавшийся самой Гиппиус «абсурдным»): «Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» — он ответил: «Да, если хотите, я с большевиками: они требуют мира». Накануне Октября Блок ждет неизбежного, по его мнению, «стихийного выступления» и записывает в дневнике: «Один только Ленин верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране».

После Октября «тайное» тяготение Блока к большевикам стало явным. Он мужественно и бесповоротно отрекся от ста-

рого мира, приветствовал Великую пролетарскую революцию как событие всемирно-исторического значения, открывающее новую эру в жизни человечества «под знаком мира и братства народов». Он связывал социалистическую революцию с «тем потоком мыслей и предчувствий, который захватил [его] десять лет назад», и на предложенный одной из буржуазных газет вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — ответил (единственный из участников анкеты): «Может и обязана... Декреты большевиков — это символы интеллигенции». В замечательной статье «Интеллигенция и революция (написанной в начале января 1918 г.) он призывал русскую интеллигенцию «всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать Революцию». В том же январе 1918 г. Блок создал поэму «Двенадцать» и стихотворение «Скифы», с огромной силой свидетельствующие о признании художником, чуждым пролетариату по своему мировоззрению, великой правды и высшей справедливости пролетарской революции.

Тем самым Блок вступил в открытый и острый конфликт с буржуазной интеллигенцией, в массе своей настроенной контрреволюционно. Вчерашние друзья и соратники, последователи и почитатели повели форменную травлю Блока: ему не подавали руки (и сообщали об этом в печати), отказывались выступать с ним на

вечерах, публично кричали по его адресу: «изменник», писали о нем в газетах всевозможные гнусности, смысл которых сводился к одному: Блок «продался большевикам». Эта «мелкая и гнусная», по выражению Блока, травля ни в малейшей мере не обезоружила его, а, наоборот, породила в нем чувство ненависти и омерзения к тем, кого он так настойчиво призывал «слушать Революцию». «Происходит совершенно необыкновенная вещь (как всё), — записал он в дневнике. — «Интеллигенты», люди, проповедывавшие революцию, «пророки революции», стали ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи».

В мае 1918 г. Блок ответил З. Гиппиус на ее злобные контрреволюционные стихи следующим образом: «В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то; узел этого замалчивания завязывался все туже... оставалось только рубить. Великий Октябрь их и разрубил... Неужели вы не знаете, что «России не будет»? Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже распался?» В блестящем очерке о «римском большевике» Катилине (апрель—май 1918 г.) Блок писал о «мировом пожаре, которого все мы свидетели и современники, который разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо, перенося свои очаги с востока на запад и с запада на восток, пока не запылает и не сгорит весь старый мир до тла».

В этих словах достаточно полно раскрывается смысл блоковского понимания революции как некоего стихийного процесса, неорганизованного «скифского» бунта, — понимания, обусловленного всеми исконными идеологическими представлениями Блока, его романтическим народничеством и максималистским восприятием революционной «стихии». Пролетарский характер Октябрьской революции, ее разумное начало, воплощенное в большевистской партии, ее реальные и конкретные задачи социалистического переустройства мира — не были поняты Блоком. В революции он слышал одну только «музыку» — музыку разрушения ненавистного ему старого мира; черты же нового, социалистического, мира оставались для него неясными.

Столь ограниченное и затемненное понимание революции с большой резкостью сказалось в «Двенадцати». «Кондовая» и «толстозадая» Святая Русь и ее персонажи — «барыня в каракуле», «писательвития», «товарищ поп» и буржуй, стоящий «как пес голодный», — все это отребье старого мира, выметаемое ветром революции — разоблачены в поэме с силой подлинно революционной ненависти. Но реальных образов людей, разрушавших этот старый мир, Блоку создать не удалось. Они были замещены в «Двенадцати» образами Ваньки и Петрухи, целиком выражавшими блоковское субъективное восприятие револю-

ции. И уже окончательно ложным оказался образ Иисуса Христа, «с кровавым флагом» возглавляющего двенадцать красногвардейцев. Образ этот — глубоко мистифицированный и неясный. Он был, повидимому, не совсем ясен и самому Блоку; во всяком случае он говорил: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос?» По поводу Христа из «Двенадцати» много спорили, но мне кажется правильным замечание А. В. Луначарского, что в данном случае в Блоке сказалась инерция религиозных представлений, связывающих с образом Христа «идею необычайной моральной высоты», и что этим образом Блок «отнюдь не предполагал как-нибудь унизить или просту хотя бы ослабить революционную остроту» своей поэмы.

В январе 1918 г., когда были написаны «Двенадцать» и «Скифы», Блок, по его же словам, «в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого» (он имел в виду в данном случае создание циклов «Снежная маска» и «Кармен»). Действительно, это было время наивысшего творческого подъема, какой когда-либо переживал Блок. Позже он говорил, что «во время и после окончания «Двенадцати» несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум

слитный (вероятно шум от крушения старого мира). Не случайно, при всей своей авторской скромности, он пометил в записной книжке, когда кончил «Двенадцать»: «Сегодня — я гений».

Октябрьская поэма Блока — конечно, самое замечательное его произведение. По своему идейному содержанию, а отчасти и по своей художественной природе поэма органически связана со всем блоковским творчеством предыдущих лет. Но, вместе с тем, лирический голос Блока зазвучал в «Двенадцати» не только с новой силой (в 1917 г. он вовсе не писал стихов), но и по-новому. Он резко сломал свой метафорический напевно-эмоциональный стих и применил частушку — эту примитивную подлинно народную песенную форму, подняв ее на высоту большого драматического напряжения. В стилевом отношении «Двенадцать» — в «высокой» русской поэзии — явление беспрецедентное.

Поэма построена симфонически — на сложных интонационных переходах, подчиненных принципу адекватности ритма, метра и прочих компонентов стиха — его смысловому содержанию. В поэме сочетаются намеренно опрощенный, угловатый, почти прозаический рассказ с предельно-сниженной разговорной интонацией (вся первая главка), лозунговые стиховые формулы, разработанные впоследствии Маяковским («Революционный держите шаг»),

солдатская и фабричная частушка, традиционные фольклорные формы («Ох ты, горе-горькое»), «мещанский» роман («Не слышно шума городского») и торжественная патетика высокого лирического строя («Так идут державным шагом»).

Фольклор петроградской улицы семнадцатого года («Ну, Ванька, сукин сын, буржуй», «У ей керенки есть в чулке»), специфический жаргон городского просторечия («Поддержи свою осанку! Над собой держи контроль!»), огрубленный словарь (портянки, брюхо, толстозадая, холера и т. д.) — все это делало «Двенадцать» произведением для Блока в значительной мере неожиданным. Буржуазно-эстетская критика встретила поэму глумлением не только из-за ее содержания, доказывая, что изысканнейший певец Прекрасной Дамы и Соловьиного сада вконец исписался и прославляет большевиков в бездарных «площадных куплетах», напоминающих «солдатские песни в провинциальных гарнизонах».

В «Скифах», написанных в связи с оживившимся наступлением немцев на революционный Петроград, получила дальнейшее развитие намеченная в «Ямбах» линия гражданской лирики высокого пафоса:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира!
В последний раз — на светлый братский пир
Сызывает варварская лира!

Патетически - декламационный стиль сближает «Скифов» с обличительной политической одой XIX века, типа пушкинской «Клеветникам России». Характерная для Блока националистическая концепция «России и Запада» и в основе своей реакционная идея «панмонголизма», «желтой опасности» (заимствованная Блоком у В. Соловьева) — приобретают в «Скифах» иной смысл, поскольку этот поэтический манифест направлен против западноевропейского империализма, собирающего крестовый поход на искоренение русской революции.

В ограниченном и затемненном, «скифском» понимании Великой пролетарской революции была историческая трагедия Блока. Как только победа пролетариата стала принимать формы организованного и планомерного социалистического строительства, — определился некоторый спад революционных настроений Блока. Он, правда, никогда не отрекался от того, что создал в январе 1918 г. «в согласии со стихией», и говорил, что «Двенадцать, какие бы они были, — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью», но «музыки революции» он уже не различал. Характерно, что, по свидетельству одного из друзей Блока, он «вспыхнул» еще раз в ноябре 1918 г., при получении известия о германской революции, когда ему снова показалось, что раздувается «мировой пожар».

После «Двенадцати» и «Скифов» Блок не писал больше стихов, если не считать нескольких альбомных и шуточных стихотворений и малоплодотворных попыток продолжить поэму «Возмездие». Зато в области прозы работа Блока в послеоктябрьские годы становится особенно напряженной. Он принимал деятельное участие в мероприятиях Советской власти по культурному строительству, работал в Комиссии по изданию классиков, в Театральном отделе Наркомпроса, в издательстве «Всемирная литература», в профессиональных писательских организациях, в Большом Драматическом театре. За 1918—1921 гг. им были написаны десятки статей и заметок по общим вопросам философии, культуры и истории и по специальным вопросам литературы и театра.

После Октября Блок еще раз попытался разрешить проблему интеллигенции и народа — эту центральную проблему его общественного сознания, взяв ее в разрезе гибели гуманистической культуры, растворившейся без остатка в капиталистической цивилизации. В докладе «Крушение гуманизма» (1919) он констатировал, что «дух музыки» покинул интеллигенцию и «бессознательным носителем» его стали «массы», народ. Он писал также, что «великое искусство рождается только из соединения двух электрических токов» — «из вечного взаимодействия двух музык — музыки

творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы». В речи, произнесенной в августе 1920 г. в Союзе поэтов, Блок призывал соратников по перу «прислушаться к самому сердцу жизни» и настоятельно указывал на необходимость развернуть работу Союза в фабрично-заводских районах.

Следует отметить, что, не различая уже «музыки» революции, Блок ни в чем не изменил ей, говорил, что «бежать от революции — позор» и с «жестокой злобой» отзывался о беломигрантах. Он нашел в себе мужество стойко перенести личные невзгоды и лишения, которым подвергся в первые тяжелые годы революции. Узнав о гибели шахматовской усадьбы, с которой были связаны его лучшие воспоминания, он сказал: «Так надо. Поэт ничего не должен иметь».

С 1920 г. здоровье Блока пошатнулось. Весной следующего года болезнь его (воспаление сердечных клапанов и развивающаяся психастения) обострилась и вскоре приняла угрожающие формы. 7 августа 1921 г. Блок скончался.

Заслуги Блока перед русской поэзией исключительно велики. Влияние, оказанное им на поэтов младшего поколения — огромно. Нельзя назвать, пожалуй, ни одного сколько-нибудь крупного поэта, писавшего после Блока, который не испытал бы в большей или меньшей мере этого мощного влияния.

Маяковский, выросший и сложившийся как поэт под прямым и непосредственным воздействием Блока, писал в 1921 г.: «Творчество Александра Блока — делая поэтическую эпоху... Славнейший мастер-символист, Блок оказал огромное влияние на современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода... Но тем и другим одинаково любовно памятен Блок».

Лучшие советские поэты учитывают богатейший опыт творческой работы Блока. Круг читателей Блока расширяется с каждым годом, и только в наше время творчество его становится всенародным достоянием. Блок памятен, близок и дорог нам как один из величайших поэтов, честно и мужественно связавший свою судьбу с революционным народом.

В. Орлов

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

1898—1904

Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Ночь распостерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле перед рассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.

Январь 1898

¹ Перед светом.—Ред.

Милый друг! Ты юною душою
Так чиста!
Спи пока! Душа моя с тобою,
Красота!
Ты проснешься, будет ночь и выуга
Холодна.
Ты тогда с душой надежной друга
Не одна.
Пусть вокруг зима и ветер воет,—
Я с тобой!
Друг тебя от зимних бурь укроет
Всей душой!

8 февраля 1899

ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ
(Картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

Дышет утро в окошко твое,
Вдохновенное сердце мое,
Пролетают забытые сны,
Воскресают виденья весны,
И на розовом облаке грез
В вышине чью-то душу пронес
Молодой, народившийся бог...
Покидай же тлетворный чертог,
Улетай в бесконечную высь,
За крылатым виденьем гонись,
Утро знает стремленье твое,
Вдохновенное сердце мое!

5 августа 1899

Не легли еще тени вечерние,
А луна уж блестит на воде.
Всё туманнее, всё суевернее
На душе и на сердце—вездे...
Суеверье рождает желания,
И в туманном и чистом *везде*
Чует сердце блаженство свидания,
Бледный месяц блестит на воде...
Кто-то шепчет, поет и любуется,
Я дыханье мое затаял,—
В этом блеске великое чутсяся,
Но великолепие я пережил...
И теперь лишь, как тени вечерние
Начинают ложиться смелей,
Возникают на миг суевернее
Вдохновенья обманутых дней...

5 октября 1899

Шли мы стезею лазурною,
Только расстались давно...
В ночь непроглядную, бурную
Вдруг распахнулось окно...
Ты ли, виденье неясное?
Сердце остыло едва...
Чую дыхание страстное,
Прежние слышу слова...
Ветер уносит стенания,
Слезы мешает с дождем...
Хочешь обнять на прощание?
Прошлое вспомнить вдвоем?
Мимо, виденье лазурное!
Сердце сжимает тоской
В ночь непроглядную, бурную
Ветер, да образ былой!

28 февраля 1900

Не призывай и не сули
Душе былого вдохновенья.
Я — одинокий сын земли,
Ты — лучезарное виденье.

Земля пустынна, ночь бледна,
Недвижно лунное сиянье,
В звездах — немая тишина —
Обитель страха и молчанья.

Я знаю твой победный лик,
Призывающий голос слышу ясно,
Душе понятен твой язык,
Но ты зовешь меня напрасно.

Земля пустынна, ночь бледна,
Не жди былого обаяния, —
В моей душе отражена
Обитель страха и молчанья.

1 июня 1900

На небе зарево. Глухая ночь мертва.
Толпится вокруг меня лесных дерев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.

Ты различишь домов тяжелый ряд,
И башни, и зубцы бойниц его суровых,
И темные сады за камнями оград,
И стены гордые твердынь многовековых.

Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрождению
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.

10 июня 1900

10

То отголосок юных дней
В душе проснулся, замирая,
И в блеске утренних лучей,
Казалось, ночь была немая.

То сон предутренний сошел,
И дух, на грани пробужденья,
Воспрянул, вскрикнул и обрел
Давно мелькнувшее виденье.

То был безжалостный порыв
Бессмертных мыслей вне сомнений.
И он умчался, пробудив
Толпы забытых откровений.

То бесконечность пронесла
Над падшим духом ураганы.
То Вечно-Юная прошла
В неозаренные туманы.

29 июля 1900

11

Твой образ чудится невольно
Среди знакомых пошлых лиц.
Порой легко, порою больно
Перед Тобой не падать ниц.

В моем забвеньи без печали
Я не могу забыть порой,
Как неутешно тосковали
Мои созвездья над Тобой.

Ты не жила в моем волненьи,
Но в том родном для нас краю —
И в одиноком поклоненьи
Познал я истинность Твою.

22 сентября 1900

Отрекись от любимых творений,
От людей и общений в миру,
Отрекись от мирских вожделений,
Думай день и молись ввечеру.

Если дух твой горит беспокойно,
Отгоняй вдохновения прочь.
Лишь единая мудрость достойна
Перейти в неизбежную ночь.

На земле не узнаешь награды.
Духом ясный пред божьим лицом,
Догорай, покидая лампаду,
Одиночим и верным огнем.

1 ноября 1900

O. M. Соловьевой

Ищу спасенья.

Мои огни горят на высах гор —
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали... Но Ты ли?
Ищу спасенья.

Торжественно звучит на небе звездный хор.
Меня клянут людские поколенья.
Я для Тебя в горах зажег костер,
Но Ты — виденье.
Ищу спасенья.

Устал звучать, смолкает звездный хор.
Уходит ночь. Бежит сомненье.
Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простираю.
В Тебе — спасенье!

25 ноября 1900

ВСТУПЛЕНИЕ

Отых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.

Дольнему стуку чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.

Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.

Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сами?

Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к тебе.

Купол стремится в лазурную высь.
Синие окна румянцем заискрились.

Все колокольные звонь гудят.
Загит весной беззакатный наряд.

Ты ли меня на закатах исдала?
Терем заиска? Ворота отперла?

28 декабря 1903

Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней младые были
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне...
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!..

25 января 1901

Ветер принес издалека
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалека
Звучные песни твои.

29 января 1901

Тихо вечерние тени
В синих ложатся снегах.
Сонмы нестройных видений
Твой потревожили прах.
Спиши ты за дальней равниной,
Спиши в снеговой пелене...
Песни твоей лебединой
Звуки почудились мне.
Голос, зовущий тревожно,
Эхо в холодных снегах...
Разве воскреснуть возможно?
Разве былое — не прах?
Нет, из господнего дома
Полный бессмертия дух
Вышел родной и знакомой
Песней тревожить мой слух.
Сонмы могильных видений,
Звуки живых голосов...
Тихо вечерние тени
Синих коснулись снегов.

2 февраля 1901

Ты отходишь в сумрак алый,
В бесконечные круги.
Я послышал отзвук малый,
Отдаленные шаги.

Близко ты или далече
Затерялась в вышине?
Ждать иль нет внезапной встречи
В этой звучной тишине?

В тишине звучат сильнее
Отдаленные шаги,
Ты ль смыкаешь, пламенея,
Бесконечные круги?

6 марта 1901

O. M. Соловьевой

Ночью сумрачной и дикой —
Сын бездонной глубины —
Бродит призрак бледноликий
На полях моей страны,
И поля во мгле великой
Чужды, хладны и темны.

Лишь порой, заслышив бога,
Дочь блаженной стороны
Из родимого чертога
Гонит призрачные сны,
И в полях мелькает много
Чистых девственниц весны.

23 апреля 1901

20

Одинокий, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь. — Меня не зови. —
Я и сам уж давно ворожу.

От тяжелого бремени лет
Я спасался одной ворожбой,
И опять ворожу над тобой,
Но не ясен и смутен ответ.

Ворожбой полоненные дни
Я лелею года, — не зови...
Только скоро-ль погаснут огни
Заколдованной темной любви?

1 июня 1901

21

И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появление,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901

...и поздно желать,
Всё минуло: и счастье и горе
Вл. Соловьев

Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко,
Да и мне не вернуть
Этих снов золотых, этой веры глубокой...
Безнадежен мой путь.

Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь
много,
Ты лазурью сильна.
Мне — другая и жизнь, и другая дорога,
И душа — не до сна.

Верь — несчастней моих молодых
поклонений
Нет в обширной стране,
Где дышал и любил твой таинственный
гений,
Безучастный ко мне.

10 июня 1901

Внемля зову жизни смутной,
Тайно плещущей во мне,
Мысли ложной и минутной
Не отдастя и во сне.
Жду волны — волны попутной
К лучезарной глубине.

Чуть слежу, склонив колени,
Взором кроток, сердцем тих,
Упывающие тени
Суетливых дел мирских
Средь видений, сновидений,
Голосов миров иных.

3 июля 1901

Я жду призыва, ищу ответа,
Немест небо, земля в молчанье,
За желтой нивой — далеко где-то —
На миг проснулось мое воззванье.

Из отголосков далекой речи,
С ночного неба, с полей дремотных,
Всё мнятся тайны грядущей встречи,
Свиданий ясных, но мимолетных.

Я жду — и трепет объемлет новый.
Всё ярче небо, молчанье глушше...
Ночную тайну разрушит слово...
Помилуй, боже, ночные души!

На миг проснулось за нивой, где-то,
Далеким эхом мое воззванье.
Всё жду призыва, ищу ответа,
Но странно длится земли молчанье...

7 июля 1901

Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти.
Но ясно чует слух поэта
Далекий гул в своем пути.

Он приклонил с вниманьем ухо,
Он жадно внемлет, чутко ждет,
И донеслось уже до слуха:
Цветет, блаженствует, растет...

Всё ближе — чаянье сильнее,
Но, ах! — волненья не снести...
И вещий падает, немея,
Засыпая близкий гул в пути.

Кругом — семья в чаду молений,
И над кладбищем — мерный звон...
Им не постигнуть сновидений,
Которых не дождался он!..

19 июля 1901

Признак истинного чуда
В час полночной темноты—
Мглистый мрак и камней груда,
В них горишь алмазом ты.

А сама — за мглой речною
Направляешь горный бег
Ты, лазурью золотою
Просиявшая навек.

29 июля 1901

Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла и огни за рекой?

Фет

Сумерки, сумерки вешние,
Хладные волны у ног,
В сердце — надежды нездешние,
Волны бегут на песок.

Отзвуки, песня далекая,
Но различить — не могу.
Плачет душа одинокая
Там, на другом берегу.

Тайна ль моя совершается,
Ты ли зовешь вдалеке?
Лодка ныряет, качается,
Что-то бежит по реке.

В сердце — надежды нездешние,
Кто-то навстречу — бегу...
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

16 августа 1901

Ты горишь над высокой горою,
Недоступна в Своем терему.
Я примчуся вечерней порою,
В упоении мечту обниму.

Ты, заслышив меня издалека,
Свой костер разведешь ввечеру,
Стану, верный велениям Рока,
Постигать огневую игру.

И, когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в дыму. —
Я умчусь с огневыми кругами
И настигну Тебя в терему.

18 августа 1901

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльдо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Входит ко мне на крыльдо!

3 октября 1901

Снова ближе вечерние тени,
Ясный день догорает вдали.
Снова сонмы нездешних видений
Вскользнулись — плывут — подошли.

Что же ты на великую встречу
Не вскрываешь свои глубины?
Или чуешь иного предтечу
Несомненной и близкой весны?

Чуть во мраке светильник завижу,
Поднимусь и, не глядя, лечу.
Ты ж и в сумраке, милая, ближе
К неподвижному жизни ключу.

14 октября 1901

Ночью выюга снежная
Заметала след.
Розовое, нежное
Утро будит свет.

Встали зори красные,
Озаряя снег.
Яркое и страстное
В скользнуло брег.

Вслед за льдиной синею
В полдень я всплыву.
Деву в снежном инее
Встречу наяву.

5 декабря 1901

Вечереющий сумрак, поверъ,
Мне напомнил неясный ответ.
Жду — внезапно отворится дверь,
Набежит исчезающий свет.
Словно бледные в прошлом мечты,
Мне лица сохранились черты
И отрывки неведомых слов,
Словно отклики прежних миров,
Где жила ты и, бледная шла,
Под ресницами сумрак тая,
За тобою — живая ладья,
Словно белая лебедь, плыла,
За ладьей — огневые струи —
Беспокойные песни мои...
Им внимала задумчиво ты,
И лица сохранились черты,
И запомнилась бледная высь,
Где последние сны пронеслись.
В этой выси живу я, поверъ,
Смутной памятью сумрачных лет,
Смутно помню — отворится дверь,
Набежит исчезающий свет.

20 декабря 1901

C. Соловьеву

Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждет твоих шагов.

Ты здесь пройдешь, холодный камень
tronешь,
Одетый страшной святостью веков,
И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой мгле, у строгих образов.

Растут невнятно розовые тени,
Высок и внятен колокольный зов,
Ложится мгла на старые ступени...
Я озарен — я жду твоих шагов.

4 января 1902

Сны раздумий небывалых
Стерегут мой день.
Вот видений запоздалых
Пламенная тень.

Все лучи моей свободы
Заадели там.
Здесь снега и непогоды
Окружили храм.

Все виденья так мгновенны —
Буду ль верить им?
Но Владычицей вселенной,
Красотой неизреченной,
Я, случайный, бедный, тленный,
Может быть, любим.

Дни свиданий, дни раздумий
Стерегут в тиши...
Ждать ли пламенных безумий
Молодой души?

Иль, застывши в снежном храме,
Не открыв лица,
Встретить брачными дарами
Вестников конда?

3 февраля 1902

Мы живем в старинной келье
У разлива вод.
Здесь весной кипит веселье,
И река поет.

Но в предвестие веселий,
В день весенних бурь
К нам прольется в двери келий
Светлая лазурь.

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

18 февраля 1902

И Дух, и Невеста говорят: прииди.

Апокалипсис

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крыльй
Надо мной небеса.

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

22 февраля 1902

Странных и новых ищу на страницах
Старых испытанных книг,
Грежу о белых исчезнувших птицах,
Чую оторванный миг.

Жизнью шумящей нестройно взъянован,
Шопотом, криком смущен,
Белой мечтой неподвижно прикован
К берегу поздних времен.

Белая Ты, в глубинах несмутима,
В жизни — строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.

Блекнут ланиты у дев златокудрых,
Зори не вечны, как сны.
Терны венчают смиренных и мудрых
Белым огнем Купины.

4 апреля 1902

Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ишу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с измененным лицом,
В мерцанье мертвенному свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.
Вот — содрогнулись, смолкли хоры,
В смятены бросились бежать...
Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать.

8 апреля 1902

Там — в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, — и снова тьма бродила.

Там в сумерках белел дверной навес
Под вывеской «Цветы», прикреплен болтом.
Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице — при свете лампы жолтом.

Там наверху окно смотрело вниз,
Завешанное неподвижной шторой,
И, словно лоб наморщенный, карниз
Гrimасу придавал стене — и взоры...

Там, в сумерках, дрожал в окошках свет,
И было пенье, музыка и танцы.
А с улицы — ни слов, ни звуков нет,—
И только стекол выступали глянцы.

По лестнице над сумрачным двором
Мелькала тень, и лампа чуть светила.
Вдруг открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, и снова тьма бродила.

1 мая 1902

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странные безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний —
Не приемлет лазурная тиши...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

13 мая 1902

Брожу в стенах монастыря,
Бездостный и темный инок.
Чуть брежжит бледная заря,—
Слежу мелькания снежинок.

Ах, ночь длина, заря бледна
На нашем севере угрюмом.
У занесенного окна
Упорным предаюся думам.

Один и тот же снег — белей
Нетронутой и вечной ризы.
И вечно бледный воск свечей,
И убеленные карнизы.

Мне странен холод здешних стен
И непонятна жизни бедность.
Меня пугает сонный плен
И братий мертвенная бледность.

Заря бледна и ночь долга,
Как ряд заутрень и обеден.
Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердцем беден...

11 июня 1902

Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадильный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.

Люблю вечернее моленье
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.

Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрежжит брачная заря.

7 июля 1902

Золотистою долиной
Ты уходишь, нем и дик.
Таёт в небе журавлиный
Удалляющийся крик.

Замер, кажется, в зените
Грустный голос, долгий звук.
Бесконечно тянет нити
Торжествующий паук.

Сквозь прозрачные волокна
Солнце, света не тая,
Праздно бьет в слепые окна
Опустелого жилья.

За нарядные одежды
Осень солнцу отдала
Улетевшие надежды
Вдохновенного тепла.

29 августа 1902

Я вышел в ночь — узнать, понять—
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.

Дорога, под луной бела,
Казалось, полнилась шагами.
Там только чья-то тень бреда
И опустилась за холмами.

И слушал я — и услыхал:
Среди дрожащих лунных пятен
Далеко, звонко конь скакал,
И легкий посвист был понятен.

Но здесь, и дальше — ровный звук,
И сердце медленно боролось,
О, как понять откуда стук,
Откуда будет слышен голос?

И вот, слышнее звон копыт,
И белый конь ко мне несется...
И стало ясно, кто молчит
И на пустом седле смеется.

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.

6 сентября 1902

ЭККЛЕСИАСТ

Благословляя свет и тень
И веселясь игрою лирной,
Смотри туда — в хаос безмирный,
Куда склоняется твой день.

Цела серебряная цепь,
Твои наполнены кувшины,
Миндаль цветет на дне долины,
И влажным зноем дышит степь.

Идешь ты к дому на горах,
Полдневным солнцем залитая;
Идешь — повязка золотая
В смолистых тонет волосах.

Зачахли каперса цветы,
И вот — кузнецик тяжелеет,
И на дороге ужас веет,
И помрачились высоты.

Молоть устали жернова.
Бегут испуганные стражи,
И всех объемлет призрак вражий,
И долу гнутся дерева.

Всё диким страхом смятено.
Столпились в кучу люди, звери.
И тщетно замыкают двери
Досель смотревшие в окно.

24 сентября 1902

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцанье красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

25 октября 1902

Распутья

(1902 — 1904)

Разгораются тайные знаки
На глухой, непробудной стене.
Золотые и красные маки
Надо мной тяготеют во сне.

Укрываюсь в ночные пещеры
И не помню суповых чудес.
На заре — голубые химеры
Смотрят в зеркале ярких небес.

Убегаю в прошедшие миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холдеющей книги —
Золотая девичья коса.

Надо мной небосвод уже низок,
Черный сон тяготеет в груди.
Мой конец предначертанный близок,
И война, и пожар — впереди.

Октябрь 1902

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград.

Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет.

И вот зажглись лучом вечерним своды,
Она дала мне Царственный Ответ.

Я здесь один хранил и теплил свечи.
Один — пророк — дрожал в дыму кадил.

И в Оный День — один участник Встречи —
Я этих Встреч ни с кем не разделил.

8 ноября 1902

Стою у власти, душой одинок,
Владыка земной красоты.
Ты, полный страсти ночной цветок,
Полюбила мои черты.

Склоняясь низко к моей груди,
Ты печальна, мой вешний цвет.
Здесь сердце близко, но там впереди
Разгадки для жизни нет.

И, многовластный, числю, как встарь,
Ворожу и гадаю вновь,
Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь?

4 ноября 1902

Несбыточное грезится опять.
Фет

Еще бледные зори на небе,
Далеко запевает петух.
На полях в созревающем хлебе
Червячёк засветил и потух.

Потемнели ольховые ветки,
За рекой огонек замигал.
Сквозь туман чародейный и редкий
Невидимкой табун проскакал.

Я печальными еду полями,
Повторяю печальный напев.
Невозможные сны за плечами
Исчезают, душой овладев.

Я шепчу и слагаю созвучья —
Небывалое в думах моих.
И качаются серые сучья,
Словно руки и лица у них.

7 ноября 1902

Царица смотрела заставки —
Буквы из красной позолоты.
Зажигала красные лампадки,
Молилась богородице кроткой.

Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы.
А к Царевне с вышкими голубиной
Прилетали белые птицы.

Рассыпала Царевна зерна,
И плескались белые перья.
Голуби ворковали покорно
В терему — под узорчатой дверью.

Царевна румянней царицы —
Царицы, ищущей смысла.
В книге на каждой странице
Золотые да красные числа.

Отворилось облако высоко,
И упала Голубиная книга.
А к Царевне из лазурного ока
Прилетела воркующая птица.

Царевне так томно и сладко —
Царевна-Невеста, что лампадка.
У царицы синие загадки —
Золотые да красные заставки.

Поклонись, царица, Царевне,
Царевне золотокудрой:
От твоей глубинности древней —
Голубиной кротости мудрой.

Ты сильна, царица; глубинностью,
В твоей книге раззолочены страницы.
А Невеста одной невинностью
Твои числа замолит, царица.

14 декабря 1902

Запевающий сон, зацветающий цвет,
Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень.
Это было весной — в улетающий день.

Разыщались цветы — и на темный
карниз
Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,
Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню — откуда дохнула в лицо,
Запевая, сгорая, взошла на крыльце.

Сентябрь — декабрь 1902

Андрею Белому

Целый год не дрожало окно,
Не звенела тяжелая дверь;
Всё забылось — забылось давно,
И она отворилась теперь.

Суетились, поспешно крестясь...
Выносили серебряный гроб...
И старуха, за ручку держась,
Спотыкалась о снежный сугроб.

Равнодушные лица толпы,
Любопытных соседей набег...
И кругом протоптали тропы,
Осквернив деломудренный снег.

Но, ложась в снеговую постель,
Услыхал заключенный в гробу,
Как вдали запевала метель,
К небесам подымая трубу.

6 января 1903

Зимний ветер играет терновником,
Задувает в окне свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься —
Он играет и шутит с тобой.
О терновник холодный уколешься,
Возвращаясь ночью домой.

Но, давно прислушавшись к счастию.
У окна я тебя подожду.
Ты ему отдаешься со страстию.
Всё равно. Я тайну блюду.

Всё, что в сердце твоем туманится,
Станет ясно в моей тишине.
И, когда он с тобой расстанется,
Ты признаешься только мне.

20 февраля 1903

Отворяются двери — там мерданья,
И за ярким окошком — виденья.
Не знаю — и не скрою незнанья,
Но усну — и потекут сновиденья.

В тихом воздухе — тающее, знающее...
Там что-то притаилось и смеется.
Что смеется? Мое ли, вздыхающее,
Мое ли сердце радостно бьется?

Весна ли за окнами — розовая, сонная?
Или это Ясная мне улыбается?
Или только мое сердце влюбленное?
Или только кажется? Или всё узнается?

17 марта 1903

С. Соловьеву

Я вырезал посох из дуба
Под ласковый шепот выюги.
Одежды бедны и грубы,
О, как недостойны подруги!

Но найду, и нищий, дорогу,
Выходи, морозное солнце!
Проброжу весь день, ради бога,
Вечеру постучусь в оконце...

И откроет белой рукою
Потайную дверь предо мною
Молодая, с золотой косою,
С ясной, открытой душою.

Месяц и звезды в косах...
— Входи, мой царевич приветный...
И бедный дубовый посох
Заблестит слезой самоцветной...

25 марта 1903

У забытых могил пробивалась трава.
Мы забыли вчера... И забыли слова...
И настала кругом тишина...

Этой смертью отшедших, сгоревших дотла,
Разве Ты не жива? Разве Ты не светла?
Разве сердце Твое — не весна?

Только здесь и дышать, у подножья могил,
Где когда-то я нежные песни сложил
О свиданьи, быть-может, с Тобой...

Где впервые в мои восковые черты
Отдаленно жизнью повеяла Ты,
Пробиваясь могильной травой...

1 апреля 1903

По городу бегал черный человек.
Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу.

Медленный, белый подходил рассвет,
Вместе с человеком взбирался на лестницу.

Там, где были тихие, мягкие тени —
Желтые полоски вечерних фонарей —

Утренние сумерки легли на ступени,
Забрались в занавески, в щели дверей.

Ах, какой бледный город на заре!
Черный человечек плачет на дворе.

Апрель 1903

Просыпаюсь я — и в поле туманно,
Но с моей вышки — на солнце укажу.
И пробуждение мое безжаланно,
Как девушка, которой я служу.

Когда я в сумерки проходил по дороге,
Заприметился в окошке красный огонек.
Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок.

В этом вся моя сказка, добрые люди.
Мне больше не надо от вас ничего:
Я никогда не мечтал о чуде —
И вы успокойтесь — и забудьте про него.

2 мая 1903

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный — Лик Невинный,
Образ девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: Живи...
Образ девушки любимой —
Повесть ласковой любви.

Июнь 1903

ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вечерние люди уходят в дома.
Над городом синяя ночь зажжена.
Боярышни тихо идут в терема,
По улице веет, гуляет весна.

На улице праздник, на улице свет,
И свечки, и вербы встречают зарю.
Дремотная сонь, неуволенный бред —
Заморские гости приснились царю...

Приснились боярам... — Проснитесь, мы
тут...
Боярышня сонно склонилась во мгле...
Там тени идут и виденья плывут...
Что было на небе — теперь на земле...

Весеннее утро. Задумчивый сон.
Влюбленные гости заморских племен
И, может-быть, поздних, веселых времен.

Прозрачная тучка. Жемчужный узор.
Там было свиданье. Там был разговор...

И к утру лишь бледной рукой отшерлась
И розовой зорькой душа занялась.

1 сентября 1903

ФАБРИКА

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жолtyх окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

Светлый сон, ты не обманешь,
Ляжешь в утренней росе,
Алой пылью тихо встанешь
На закатной полосе.

Солнце небо опояшет,
Вот и вечер — весь в огне.
Зайчик розовый запляшет
По цветочкам на стене.

На балконе, где алеют
Мхи старинных балюстрад,
Деды дремлют и лелеют
Сны французских бастионов.

Мы внимаем ветхим ледам,
Будто статуям из ниш:
Сладко вспомнить за обедом
Старый пламенный Париж,

Протянув больную руку,
Сладко юным погрозить,
Сладко гладить кудри внуку,
О минувшем говорить.

И в алеющем закате
На балконе подремать,

В мягком стеганом халате
Перебраться на кровать...

Скажут:—Поздно, мы устали...
Разойдутся на заре.
Я с тобой останусь в зале,
Лучик ляжет на ковре.

Милый сон, вечерний лучик...
Тени бархатных ресниц...
В золотистых перьях тучек
Танец нежных вечерниц...

25 февраля 1904

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Павликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны налету
Бледно-белым прозрачным цветком.
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи, —
Я огонь для тебя сберегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.

В церкви станешь ты, бледен лицом,
И к царице небесной придешь, —
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почутять знакомую дрожь...

Над тобой — как свеча — я тиха,
Пред тобой — как цветок — я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Всё невеста — и вечно жена.

26 марта 1904

Наш Аргон
Андрей Белый

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.

Вечно — завтра. У решотки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.

Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд,
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.

Ангел розовый укажет,
Скажет: — Вот она:
Бисер низнет, в нити вяжет —
Вечная Весна.

В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Март — апрель 1904

Вот он — ряд гробовых ступеней.
И меж нас — никого. Мы вдвоем.
Спи ты, нежная спутница дней,
Залитых небывалым лучом.

Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.

Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой.
Остальное — бездонная твердь
Схоронила во мгле голубой.

Спи — твой отдых никто не прервет.
Мы — окрай неизвестных дорог.
Всю ненастную ночь напролет
Здесь горит осиянный чертог.

18 июня 1904

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА ВТОРАЯ

1904—1908

ВСТУПЛЕНИЕ

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзовенели,
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излученный путь...

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и суши
Неподвижно тонкой Рукой!

16 апреля 1905

Пузыри земли

Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли.

Макбет

На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном весельи встречаю весну.

На земле еще жесткой
Пробивается первая травка.
И в кружеве березки —
Далеко — глубоко —
Лиловые скаты оврага.

Она взманила,
Земля пустынная!

На западе, рдея от холода,
Солнце, как медный шлем воина,
Обращенного лицом печальным
К иным горизонтам,
К иным временам...

И шишак — золотое облако —
Тянется ввысь белыми перьями
Над дерзкой красою
Лохмотий вечерних моих!

И жалкие крылья мои —
Крылья вороньего пугала —
Пламенеют, как солнечный шлем,
Отблеском вечера...
Отблеском счаствия...

И кресты — и далекие окна —
И вершины зубчатого леса —
Всё дышит ленивым
И белым размером
Весны.

5 мая 1904

БОЛОТНЫЕ ЧЕРТЕНЯТКИ

A. M. Ремизову

Я прогнал тебя винтом
В полдень сквозь кусты,
Чтоб дождаться здесь вдвоем
Тихой пустоты.

Вот — сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий — месяц наверху —
Искривил свой рот.

Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой также стерт.
Тише вод и ниже трав —
Захудалый черт.

На дурацком колпаке
Бубенец разлук.
За плечами — вдалеке —
Сеть речных излук...

И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Зачумленный сон воды,
Ржавчина волны...
Мы — забытые следы
Чьей-то глубины...

Январь 1905

БОЛОТНЫЙ ПОПИК

На весенней проталинке
За вечерней молитвою — маленький
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь красноватых
Не видать чертят бесноватых,
Но вечерняя прелесть
Увидá вокруг него свои тонкие руки...
Предзакатные звуки,
Легкий шелест.

Тихонько он молится,
Улыбается, клонится,
Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей,
Травой исцеляющей
Перевяжет болящую лапу.
Перекрестит и пустит гулять:
— Вот, ступай в родимую гать.
Душа моя рада

— Всякому гаду
— И всякому зверю
— И о всякой вере.

И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,
За больную звериную лапу,
И за римского папу.—

Не бойся пучины тряской —
Спасет тебя черная ряска.

17 апреля 1905

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица:

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там — в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И приметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
— Ты, красавица, верно — ко мне!
— Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,
С бородою зеленою сплелась
И с туманом лесным поднялась.

Так тоскуют они об одном,
Так летают они вечерком,
Так венчалась весна с колдуном.

24 апреля 1905

Белый конь чуть ступает усталой ногой,
Где бескрайная зыбь залегла.
Мне болотная схима — желанный покой,
Будьnochлегом, зеленая мгла!

Алой ленты Твоей надо мной полоса,
Бьется в ноги коня змеевик,
На горе безмятежно поют голоса,
Всё о том, как закат Твой велик.

Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом
С плачом раскаленной земли.
Но сквозь ели прощальный Твой луч мне
 знаком,
Тишина Твоя дремлет вдали.

Я с Тобой — навсегда, не уйду никогда,
И осеннюю волю отдам.
В этих впадинах тихая дремлет вода,
Запирая ворота безумным ключам.

О, Владычица дней! алой лентой Твоей
Окружила Ты бледно-лазоревый свод!
Знаю, ведаю ласку Подруги моей —
Старину озаренных болот.

3 июня 1905

СТАРУШКА И ЧЕРТЕНЯТА

Григорию Е.

Побывала старушка у Троицы
И всё дальше идет, на восток.
Вот сидит возле белой околицы,
Обвевает ее вечерок.

Собрались чертенята и карлики,
Только диву даются в кустах
На костыль, на мешок, на сухарики,
На усталые ноги в лаптях.

- Эта странница, верно, не рада нам—
- Приложилась к мощам — и свята;
- Надышалась божественным ладоном,
- Чтобы видеть Святые Места.

- Чтоб идти ей тропинками злачными,
- На зеленую травку присесть...
- Чтоб высоко над елями мрачными
- Пронеслась золотистая весть...

И мохнатые, малые каются
Умиленно глядят на костыль,
Униженно в траве кувыркаются,
Поднимают копытцами пыль:

— Ты прости нас, старушка ты божия
— Не бери нас в Святые Места!
— Мы и здесь лобызаем подножия
Своего, полевого Христа.

— Занимаются села пожарами,
— Грозовая над нами весна,
— Но за майскими тонкими чарами
— Затлевает и нам Купина...

Июль 1905

ПЛЯСКИ ОСЕННИЕ

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый твой голос звенит,
Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За тобой в хороводах распещеют
Осенницы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.
Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою твоей не сгорать.

С нами, к нам — легкокрылая младость,
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам Радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора:
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —
На земле, на зеленоей поляне,
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину,
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну.

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля твоя.

1 октября 1905

Ночная Фиалка

Сон

Миновали случайные дни
И равнодушные ночи,
И, однако, памятно мне
То, что хочу рассказать вам,
То, что случилось во сне.

Город вечерний остался за мною.
Дождь начинал моросять.
Далеко, у самого края,
Там, где небо, устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото, —
Там краснела полоска зари.

Город покинув,
Я медленно шел по уклону
Мало застроенной улицы,
И, кажется, друг мой со мной.
Но, если и шел он,
То молчал всю дорогу.

Я ли просил помолчать,
Или сам он был грустно настроен,
Только, друг другу чужие,
Разное видели мы:
Он видел извощичьи дрожки,

Где молодые и лысые франты
Обнимали раскрашенных женщин.
Также не были чужды ему
Девицы, смотревшие в окна
Сквозь желтые бархатцы...
Но всё посерело, померкло,
И зренье у спутника — также,
И, верно, другие желанья
Его одолели,
Когда он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного
(Чем я был нескованно доволен,
Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей?)

Прохожих стало всё меньше.
Только тощие псы попадались навстречу,
Только пьяные бабы ругались вдали.
Над равниною мокрой торчали
Кочерыжки капусты, березки и вербы,
И пахло болотом,

И, пока прояснялось сознанье,
Умолкали шаги, голоса,
Разговоры о тайнах различных религий,
И заботы о плате за строчку, —
Становилось ясней и ясней,
Что когда-то я был здесь и видел
Всё, что вижу во сне, — наяву.

Опустилась дорога,
И не стало видно строений.

На болоте, от кочки до кочки,
Над стоячей и ржавой водой
Перекинуты мостики были,
И тропинка вилась
Сквозь лилово-зеленые сумерки.
В сон, и в дрёму, и в лень,
Где внизу и вверху,
И над кочкою чахлой,
И над красной полоской зари —
Затаил ожидание воздух
И как-будто на страже стоял,
Ожидая расцвета
Нежной дочери струй
Водяных и воздушных.

И не-даром всё было спокойно
И торжественной встречей полно:
Ведь никто не слыхал никогда
От родителей смертных,
От наставников школьных,
Да и в книгах никто не читал,
Что вблизи от столицы,
На болоте глухом и пустом,
В час фабричных гудков и журфиксов,
В час забвенья о зле и добре,
В час разгула родственных чувств
И развратно длинных бесед
О дурном состоянии желудка
И о новом совете министров,
В час презренья к лучшим из нас,
Кто, падений своих не скрывая,
Без стыда продаёт свое тело
И на пыльно-трескучих троттуарах

С наглой скромностью смотрит
в глаза, —
Что в такой оскорбительный час
Всем доступны виденья.
Что такой же бродяга, как я,
Или, может быть, ты, кто читаешь
Эти строки, с любовью иль злобой, —
Может видеть ли я зеленый
Безмятежный и чистый цветок,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Так я знал про себя,
Проходя по болоту,
И увидел сквозь сетку дождя
Небольшую избушку.
Сам не зная, куда я забрел,
Приоткрыл я тяжелую дверь
И смущенно встал на пороге.

В длинной, низкой избе по стенам
Неуклюжие лавки стояли.
На одной — перед длинным столом —
Молчаливо сидела за пряжей,
Опустив над работой пробор,
Некрасивая девушка
С неприметным лицом.
Я не знаю, была ли она
Молода или стара,
И какого цвета волосы были,
И какие черты и глаза.
Знаю только, что тихую пряжу прядла,
И потом, отрываясь от пряжи,
Долго, долго сидела, не глядя,

Без забот и без дум.
И еще я, наверное, знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше
И, пожалуй, стройней и моложе,
И, быть может, грустили когда-то,
Припадая к подножьям ее,
Короли в сединах голубых.

И запомнилось мне,
Что в избе этой низкой
Вейл сладкий дурман,
Оттого, что болотная дрёма
За плечами моими текла,
Оттого, что пронизан был воздух
Задвиганьем Фиалки Ночной,
Оттого, что на праздник вечерний
Я не в брачной одежде пришел.
Был я нищий бродяга,
Посетительочных ресторанов,
А в избе собирались короли;
Но запомнилось ясно,
Что когда-то я был в их кругу
И устами касался их чаши
Где-то в скалах, на фьордах,
Где уж нет ни морей, ни земли,
Только в сумерках снежных
Чуть блестят золотые венцы
Скандинавских владык.

Было тяжко опять приступить
К исполнению сурового долга,
К поклонению забытым венцам,

Но они дожидались,
И, грустя, засмеялась душа
Запоздалому их ожиданью.

Обходил я избу,
Руки жал я товарищам прежним,
Но они не узнали меня.
Наконец, за огромною бочкой
(Верно с пивом), на узкой скамье
Я заметил сидящих
Старика и старуху.
И глаза различили венцы,
Потускневшие в воздухе ржавом,
На зеленых и древних кудрях.
Здесь сидели веками они,
Дожидаясь привычных поклонов,
Чуть кивая пришельцам в ответ.
Обойдя всех сидевших на лавках,
Я отвесил поклон королям;
И по старым глубоким морщинам
Пробежала усталая тень;
И привычно торжественным жестом
Короли мне велели оставаться.
И тогда, обернувшись,
Я увидел последнюю лавку
В самом темном углу.

Там, на лавке неровной и шаткой,
Неподвижно сидел человек,
Опершись на колени локтями,
Подпирая руками лицо.
Было видно, что он, не старея,
Не меняясь, и думая думу одну,

Прогрустил здесь века,
Так что члены одеревенели.
И теперь, обреченный, сидит
За одною и тою же думой
И за тою же кружкой пивной,
Что стоит рядом с ним на скамейке.

И когда я к нему подошел,
Он не поднял лица, не ответил
На поклон, и не двинул рукой.
Только понял я, тихо взглянувшись
В глубину его тусклых очей,
Что и мне, как ему, суждено
Здесь сидеть — у недопитой кружки,
В самом темном углу.
Суждена мне такая же дума,
Так же руки мне надо сложить,
Так же тусклые очи направить
В дальний угол избы,
Где сидит под мерцающим светом,
За дремотой четы королевской,
За уснувшей дружиной,
За бесцельною пряжей —
Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Так сижу я в избе.
Рядом — кружка пивная
И печальный владелец ее.
Понемногу лицо его никнет,
Скоро тихо коснется колен,
Да и руки, не в силах согнуться,
Только брякнут костями,

Упадут и повиснут.
Этот нищий, как я, — в старину
Был, как я, благородного рода,
Стройным юношой, храбрым героем,
Обольстителем северных лев
И певцом скандинавских сказаний.
Вот обрывки одежды его:
Разноцветные полосы тканей,
Шитых золотом красным
И поблекших.

Дальше вижу дружину
На огромных скамьях:
Кто владеет в забвении
Рукоятью меча;
Кто, к щиту прислоняясь,
Увязил долговязую шпору
Под скамьей;
Кто свой шлем уронил, — и у шлема,
На истлевшем полу,.
Пробивается бледная травка,
Обреченная жить без весны
И дышать стариной бездыханной.

Дальше — чинно, у бочки пивной,
Восседают старик и старуха,
И на них догорают венцы,
Озаренные узкой полоской
Отдаленной зари.
И струятся зеленые кудри,
Обрамляя морщин глубину,
И глаза под навесом бровей
Огоньками болотными дремлют.

Дальше, дальше — беззвучно прядет,
И прядет, и прядет королевна,
Опустив на з работой пробор.
Сладким сном одурманила нас,
Опоила нас зельем болотным,
Окружила нас сказкой ночной,
А сама всё цветет и цветет,
И болотами дышет Фиалка,
И беззвучная кружится прылка,
И прядет, и прядет, и прядет.

Цепенею, и сплю, и грущу
И таю мою долгую думу,
И смотрю на полоску зари.
И, проходят, быть-может, мгновенья,
А, быть-может, — столетья.

Сышу, сышу сквозь сон
За стенами раскаты,
Отдаленные всплески,
Будто дальний прибой,
Будто голос из родины новой,
Будто чайки кричат,
Или стонут глухие сирены,
Или гонит играющий ветер
Корабли из веселой страны.
И нечаянно Радость приходит,
И далекая цена бушует,
Задвигают далеко огни.

Вот сосед мой склонился на кружку,
Тихо брякали руки,
И приникла к скамье голова.

Вот рассыпался меч, дребезжа.
Щит упал. Из-под шлема
Побежала веселая мышка.
А старик и старуха на лавке
Прислонились тихонько друг к другу,
И над старыми их головами
Больше нет королевских венцов.

И сижу на болоте.
Над болотом цветет,
Не старея, не зная изменения,
Мой лиловый цветок,
Что зову я — Ночью Фиалкой.

За болотом остался мой город,
Тот же вечер и та же заря.
И, наверное, друг мой, шатаясь,
Не однажды домой приходил
И ругался, меня проклиная,
И мертвейским сном засыпал.

Но столетья прошли,
И продумал я думу столетий.
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети.
Так же тих догонающий свод,
Тот же мир меня тягостный встретил.
Но Ночная Фиалка цветет,
И лиловый цветок ее светел.
И в зеленои ласкающей мгле
Сышу волн круговое движенье,
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.

Так заветная прядка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.

И Ночная Фиалка цветет.

1905—1906

Разные стихотворения

Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
Кто то крикнул: — Будь прославлен!
Кто то шепчет: — Не забудь!

Рядом пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...

Только в памяти веселой
Где то вспыхнула свеча.
И прошли, стопой тяжелой
Тело теплое топча...

Ведь никто не встретит старость —
Смерть летит из уст в уста...
Высоко пылает ярость,
Даль кровавая пуста...

Что же! громче будет скрежет,
Слаще боль и ярче смерть!
И потом — земля разнежит
Перепуганную твердь.

Январь 1905

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Королевна жила на высокой горе,
И над башней дымились прозрачные сны
облаков.
Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал
о любви на заре,
В те часы, когда Рейн выступал из своих
берегов.

Над зелеными рвами текла, розовея, весна.
Непомерность ждала в синевах отдаленной
черты.
И влюбленность звала — не дала отойти от
окна,
Не смотреть в роковые черты, оторваться
от светлой мечты.

— Подними эту розу, шепнула — и ветеср
донаес
Тишину улетающих лат, бездыханный ответ.
— В синем утреннем небе найдешь Купину
расцветающих роз,
Он шепнул, и сверкнул, и взлетел, и она
полетела во след.

И за облаком плыло и пело мердание тьмы.
И влюбленность в погоне забыла, забыла
свой щит.
И она, окрылья, полетела из отчей
торьмы —
На воздушном пути королевна полет своей
стремит.

Уж в стремнинах туман, и рога созывают
стада,
И заветная мгла протянула плащи
и скрестила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.

Не смолкает вдали властелинов борьба,
Распиря ледов над ширью земель.
Но различна Судьба: здесь — мечтанье раба,
Там — воздушной Влюбленности хмель.

И в воздушный покров улетела на зов
Навсегда... О, Влюбленность! Ты строже
Судьбы!
Повелительней древних законов отцов!
Слаще звука военной трубы!

3 июня 1905

Она веселой невестой была.
Но смерть пришла. Она умерла.

И старая мать погребла ее тут.
Но дерковь упала в зацветший пруд.

Над зыбью самых глубоких мест
Плынет один неподвижный крест.

Миновали сотни и сотни лет,
А в старом доме юности нет.

И в доме, уставшем юности ждать,
Одна осталась старая мать.

Старуха вдевает нити в иглу.
Тени нитей дрожат на светлом полу.

Тихо, как будет. Светло, как было.
И счет годин старуха забыла.

Как мир, стара, как лунь, седа.
Никогда не умрет, никогда, никогда..

А вдоль комодов, вдоль старых кресел
Мушиный танец всё так же весел,

И красные нити лежат на полу,
И мышь щекочет обои в углу.

В зеркальной глуби — еще покой
С такой же старухой, как лунь седой,

И те же нити, и те же мыши,
И тот же образ смотрит из ниши —

В окладе темном — темней пруда,
Со взором скромным — всегда, всегда..

Давно потухший взгляд безучастный,
Клубок из нитей веселый, красный...

И глубже, и глубже покоев ряд,
И в окна смотрит всё тот же сад,

Зеленый, как мир; высокий, как ночь;
Нежный, как отошедшая дочь...

— Вернись, вернись. Нить не хочет тлеть,
— Дай мне спокойно умереть.

3 июня 1905

БАЛАГАНЧИК

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный чорт ухватил карапузика
И стекает клюквенный сок.

Мальчик

Он спасется от черного гнева
Мановением белой руки.
Посмотри: огоньки
Приближаются слева...
Видишь факелы? видишь дымки?
Это, верно, сама королева...

Девочка

Ах, нет, зачем ты дразнишь меня?
Это — адская свита...
Королева — та ходит средь белого дня,
Вся гирляндами роз перевита,
И шлейф ее носит, мечами звена,
Взыхающих рыцарей свита.

Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: — Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпцей!
На голове моей — картонный шлем!
А в руке — деревянный меч!

Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.

Июль 1905

ПОЭТ

Сидят у окошка с папой.
Над берегом вьются галки.

— Дождик, дождик! Скорей закапай!
У меня есть зонтик на палке!

— Там — весна. А ты — зимняя пленица,
Бедная девочка в розовом капоре...
Видишь, море за окнами пенится?
Полетим с тобой, дочка, за море.

— А за морем есть мама?

— Нет.

— А где мама?

— Умерла

— Что это значит?

— Это значит: вон идет глупый поэт:
Он вечно о чем-то плачет.

— О чём?

— О розовом капоре.

— Так у него нет мамы?

— Есть. Только ему ни почем:
Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама.

— А эта Дама — добрая?

— Да.

— Так зачем же она не приходит?

— Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе.

Подошла почка,
Кончился разговор папы с дочкой.

Июль 1905

У МОРЯ

Стоит полукруг зари.
Скоро солнце совсем уйдет.
— Смотри, папа, смотри,
Какой к нам корабль плывет!

— Ах, дочка, лучше бы нам
Уйти от берега прочь...
Смотри: он несет по волнам
Нам светлым — темную ночь...

— Нет, папа, взгляни разок,
Какой на нем пестрый флаг!
Ах, как его голос высок!
Ах, как освещен маяк!

— Дочка, то сирена поет.
Берегись, пойдем-ка домой...
Смотри: уж туман подзет:
Корабль стал совсем голубой...

Но дочка плачет навзыд,
Глубь морская ее манит,
И хочет пуститься вплавь,
Чтобы сон обратился в явь.

Июль 1905

ОСЕННЯЯ ВОЛЯ

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скучные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рабин в проезжих сelaх
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелью...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905

Не мани меня ты, воля,
Не зови в поля!
Пировать нам вместе что ли,
Матушка-земля?
Кудри ветром растрепала
Ты издалека,
Но меня благословляла
Белая рука...
Я крестом касался персти,
Целовал твой прах,
Нам не жить с тобою вместе
В радостных полях!
Лишь на миг в воздушном мире
Оглянусь, взгляну,
Как земля в зеленом пире
Празднует весну,—
И пойду путем-дорогой,
Тягостным путем —
Жить с моей душой убогой
Ниццим бедняком.

Июль 1905

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

В лапах косматых и страшных
Коцун укачал весну.
Вспомнили дети о снах вчерашних,
Отошли тихонько ко сну.

Мама крестила рукой усталой,
Никому не взглянула в глаза.
На закате полоской алоей
Покатилась к земле слеза.

— Мама, красавая мама, не плачь ты!
Золотую птицу мы увидим во сне.
Всю вчерашнюю ночь она пела с мачты,
А корабль плывал к весне.

Он плыл и качался, плыл и качался,
А бедный матросик смотрел на юг:
Он друга оставил и в слезах надрывался,
Верно, есть у тебя печальный друг?

— Милая девочка, спи, не тревожься,
Ты сегодня другое увидишь во сне.
Ты к вчерашнему сну никогда не
вернешься:

Одно и то же снится лишь мне...

Август 1905

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут ее выюжные трели,
Звезды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубендами призываю бренча.

С легким треском рассыпался веер,—
Ах, что значит — не пить и не есть!
Но в глазах, обращенных на север,
Мне холодному — жгучая весть...

И над мигом свивая покровы,
Вся окутана звездами вьюг,
Упываешь ты в сумрак снеговый,
Мой от века загаданный друг.

Август 1905

Утихают светлый ветер,
Наступает серый вечер,
Ворон канул на сосну,
Тронул солнную струну.

В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любви скромной
Закручинишься ль во сне?

Пусть душа твоя мгновенна —
Над тобою неизменна
Гордость юная твоя,
Верность женская моя.

Не гони летящий мимо
Призрак легкий и простой,
Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушки другой...

Ну, так с богом! Вечер близок,
Быстрый лёт касаток низок,
Надвигается гроза,
Ночь глядит в твои глаза.

21 августа 1905

Стало тихо в дальней спаленке —
Синий сумрак и покой,
Оттого, что карлик маленький
Держит маятник рукой.

4 октября 1905

В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.

Всё, как было. Только странная
Водарилась тишина.
И в окне твоем — туманная
Только улица страшна.

Словно что-то недосказано,
Что всегда звучит, всегда...
Нить какая-то развязана,
Сочетавшая года.

И прошла ты, сонно-белая,
Вдоль по комнатам одна.
Опустила, вся несмелая,
Штору синего окна.

И потом, едва заметная,
Тонкий полог подняла.
И, как время, безрассветная,
Шевелясь, поникла мгла.

Евгению Иванову

Вот он — Христос — в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.
Но лик и синее небо — одно.

Единый, светлый, немного грустный —
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И всё так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя...

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.

10 октября 1905

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Пропыла она — и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.

Небо — в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыпает нам ресницы
Белоснежная метель...

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна...

Скоро Финского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Всё, что видели, сестре...

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Скажет каждому: — Будь весел.
— За окном лежат снега.

13 января 1906

ВЕРБОЧКИ

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

1—10 февраля 1906

Я знал еще тогда,
В те баснословные годы.
Тютчев

Прошли года, но ты — всё та же:
Строга, прекрасна и ясна;
Лишь волосы немного гляже,
И в них сверкает седина.

А я — склонен над грудой книжной,
Высокий, сгорбленный стариk, —
С одною думой непостижной
Смотрю на твой спокойный лик.

Да. Нас года не изменили.
Живем и дышим, как тогда,
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные годы...

Их светлый пепел — в длинной урне.
Наш светлый дух — в лазурной мгле.
И всё чудесней, всё лазурней —
Дышать прошедшим на земле.

30 мая 1906

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Люблю тебя, ангел-хранитель, во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня
Собачью покорность купить у меня..

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито—
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!

Огонь или тьма — впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

17 августа 1906

Шлейф, забрызганный звездами,
Синий, синий, синий взор.
Меж землей и небесами
Вихрем поднятый костер.

Жизнь и смерть в круженьи вечном,
Вся — в шелках тугих —
Ты — путям открыта млечным,
Скрыта в тучах грозовых.

Пали душные туманы.
Гасни, гасни свет, пролейся мгла...
Ты — рукою узкой, белой, странной
Факел-кубок в руки мне дала.

Кубок-факел брошу в купол синий —
Расплеснется млечный путь.
Ты одна взойдешь над всей пустыней
Шлейф кометы развернуть.

Дай серебряных коснуться складок,
Равнодушным сердцем знать,
Как мой путь страдальний сладок,
Как легко и ясно умирать.

Сентябрь 1906

РУСЬ

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И втайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертами
В дорожных сугробовых столбах.

Где буйно заметает выюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвие.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот, она не запятила
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И втайне почивает Русь,
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

СЫН И МАТЬ

Моей матери

Сын осеняется крестом.
Сын покидает отчий дом.

В песнях матери оставлennой
Золотая радость есть:
Только б он пришел прославленный,
Только б радость перенесть!

Вот, в доспехе ослепительном,
Сынно, ходит сын во мгле,
Дух свой предал небожителям,
Сердце — матери земле.

Петухи поют к заутрене,
Ночь испуганно бежит.
Хриплый рог туманов утренних
За спиной ее трубит.

Поднялись над луговинами
Кудри спутанные мхов,
Метят взорами совиными
В стаю легких облаков...

Вот он, сын мой, в светлом облаке,
В шлеме утренней зари!
Сыплет он стрелами колкими
В чернолесья, в пустыри!...

Веет ветер очистительный
От небесной синевы.
Сын бросает меч губительный,
Шлем снимает с головы.

Точит грудь его пронзенная
Кровь и горние хвалы:
Здравствуй, даль, освобожденная
От ночной туманной мглы!

В сердце матери оставлennой
Золотая радость есть:
Вот он, сын мой, окровавленный!
Только б радость перенесть!

Сын не забыл родную мать:
Сын воротился умирать.

4 октября 1906

И каждая навек узнала
И не забудет никогда,
Как обнимала, целовала,
Как пела тихая вода.

Октябрь 1906

ТИШИНА ЦВЕТЕТ

Здесь тишина цветет и движет
Тяжелым кораблем души,
И ветер, пес послушный, лижет
Чуть пригнувшие камыши.

Здесь в заводь праздную желанье
Свои приводит корабли.
И сладко тихое незнанье
О дальних ропотах земли.

Здесь легким образам и думам
Я отдаю стихи мои,
И томным их встречают шумом
Реки согласные струи.

И, томно опустив ресницы,
Вы, девушки, в стихах прочли,
Как от страницы до страницы
В даль потянули журавли.

И каждый звук был вам намеком
И несказанным — каждый стих.
И вы любили на широком
Просторе легких рифм моих.

Как засветлевшая от Мэри
Передзакатная заря.

И чей-то душный, тонкий волос
Скользит и веет вокруг лица,
И на амвоне женский голос
Поет о Мэри без конца.

О розах над ее иконой,
Где вечный сумрак и хвала,
О деве дальней, благосклонной,
В чьих взорах — свет, в чьих косах — мгла.

Ноябрь 1906

О жизни, догоревшей в хоре
На темном клиросе твоем.
О Деве с тайной в светлом взоре
Над осиянным алтарем.

О томных девушках у двери,
Где вечный сумрак и хвала.
О дальней Мэри, светлой Мэри,
В чьих взорах — свет, в чьих косах — мгла.

Ты дремлешь, боже, на иконе,
В дыму кадильниц голубых.
Я пред тобою, на амвоне,
Я — сумрак улиц городских.

Со мной весна в твой храм вступила,
Она со мной обручена.
Я — голубой, как дым кадила,
Она — туманная весна.

И мы под сводом веем, веем,
Мы стелемся над алтарем,
Мы над народом чары деем
И Мэри светлую поем.

И девушки у темной двери,
На всех ступенях алтаря —

БАЛАГАН

Ну, старая кляча, пойдем
ломать своего Шекспира!
Как

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, drogi
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, спитые пестро...

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Ноябрь 1906

Сόльвейг! О, Сόльвейг! О, Солнечный Путь!
Дай мне вздохнуть, освежить мою грудь!

В темных провалах, где дышит гроза,
Вижу зеленые злые глаза.

Ты ли глядишь, иль старуха — сова?
Чьи раздаются во мраке слова?

Чей ослепительный плащ на лету
Путь открывает в твою высоту?

Знаю — в горах распевают рога,
Волей твоей зацветают луга.

Дай отдохнуть на уступе скалы!
Дай расколоть это зеркало мглы!

Чтобы лохматые тролли, визжа,
Вниз сорвались, как потоки дождя,

Чтоб над омытой душой в вышине
День золотой был всерадостен мне!

Декабрь 1906

УСТАЛОСТЬ

Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.

И краток путь средь долгой ночи,
Друзья, близка ночная твердь!
И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: *смерть*.

И есть ланит живая алость,
Печаль свиданий и разлук...
Но есть паденье, и усталость,
И торжество предсмертных мук.

14 февраля 1907

Зачатый в ночь, я в ночь рожден
И вскрикнул я, прозрев:
Так тяжек матери был стон,
Так черен ночи зев.
Когда же сумрак поредел,
Унылый день повлек
Клубок однообразных дел,
Безрадостный клубок.
Что быть должно — то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот — я стал поэт.
Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз.
И был я в розовых цепях
У женщин много раз.
И всё, как быть должно, пошло:
Любовь, стихи, тоска:
Всё приняла в свое русло
Спокойная река.
Как ночь слепа, так я был слеп,
И думал жить слепой...
Но раз открыли темный склеп,
Сказали: *бог с тобой*.
В ту ночь был белый ледоход,
Разлив осенних вод.

Я думал: — Вот, река идет.
И я пошел вперед.
В ту ночь река во мгле была,
И в ночь и в темноту
Та — незнакомая, пришла
И встала на мосту.
Она была — живой костер
Из снега и вина.
Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.
И тихо за руку взяла
И глянула в лицо.
И маску белую дала
И светлое кольцо.
— Довольно жить, оставь слова,
— Я, как метель, звонка,
— Иною жизнию жива,
— Иным огнем ярка.
Она зовет. Она манит.
В снегах земля и твердь.
Что мне поет? Что мне звенит?
Иная жизнь? Глухая смерть?

12 апреля 1907

С каждой весною пути мои круче,
Мертвенней сумрак очей.
С каждой весною ясней и певучей
Таинства белых ночей.

Месяц ладью опрокинул в последней
Бледной могиле, — и вот
Стерты лица и пьяные бредни...
Карты... Цыганка поет.

Смехом волнуемый черным и громким,
Был у нас пламенный лик.
Свет набежал. Промелькнули потемки.
Вот он: бесстрастен и дик.

Видишь, и мне наступила на горло,
Душит красавица ночь...
Краски последние смыла и стерла...
Что ж? Если можешь, пророчь...

Ласки мои неумелы и грубы,
Ты же — нежнее, чем май.
Что же? Целуй в помертвевые губы.
Пояс печальный снимай.

7 мая 1907

Она пришла с заката.

Был плащ ее заколот

Цветком нездешних стран.

Звала меня куда-то

В бесцельный зимний холод

И в северный туман.

И был костер в полночи,

И пламя языками

Лизало небеса.

Сияли ярко очи,

И черными змеями

Распуталась коса.

И змеи окрутили

Мой ум и дух высокий

Распяли на кресте.

И в вихре снежной пыли

Я верен черноокой

Змеиной красоте.

8 ноября 1907

ПЕТР

Евг. Иванову

Он спит, пока закат румян.

И сонно розовеют латы.

И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,

Змей расклубится над домами.

В руке протянутой Петра

Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,

Блеснут витрины и троттуары.

В мерцанье тусклых площадей

Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,

Потонет взгляд в манящем взгляде.

Пускай невинность из угла

Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь

Взмахнул зловонное кадило,

И ризой городская гарь

Фонарь манящий облачил!

Бегите все на зов! на зов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских — крикливых, женских —
струнных!

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

22 февраля 1904

Вечность бросила в город
Оловянный закат.
Край небесный распорот,
Переулки гудят.

Всё бессилье гаданья
У меня на плечах.
В окнах фабрик — преданья
О разгульных ночах.

Оловянные кровли —
Всем безумным приют.
В этот город торговли
Небеса не сойдут.

Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман.
Уводи, переулок,
В дымно-сизый туман...

26 июня 1904

Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стекла окон,
Грязно-рыжее пальто,
Развевающийся локон —
Всё закатом залито.

Блещут искристые гривы
Золотых, как жар, коней,
Мчатся бешеные дива
Жадных облачных грудей,

Красный дворник плещет ведра
С пьяно-алою водой,
Пляшут огненные бедра
Проститутки площадной,

И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный язык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.

28 июня 1904

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов,
Словеса незнакомых наречий.

Скоро прибыли толпы других,
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутинною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
А незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как в море.

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...

Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна.

Не стерег исступленный дракон,
Не пытала под нами геенна.
Затопили нас волны времен,
И была наша участь — мгновенна.

10 сентября 1904

В кабаках, в переулках, в извилах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в мольбу.

Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверканы витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были дари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
— Ты украсил их тонкие пальцы
— Жемчугами несметной цены?

— Ты им дал разноцветные шубки?
— Ты зажег их снопами лучей?
— Ты раскрасил пунцовье губки,
— Синеватые дуги бровей?

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпой мечтать.
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...

А они проходили всё мимо,
Смутно каждая в сердце тая,

Чтоб навеки, ни с кем несравнимой,
Отлететь в голубые края.

И мелькала за парою пара...
Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованы троттуара,
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном —
Тихо съежившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

Декабрь 1904

Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Сышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке.
Входит кто-то сильный
В сером армяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил
И багор закинул,
Грудью надавил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
Вот они далеко,
Весело плывут.
Только нас с собою,
Верно, не возьмут!

Декабрь 1904

Улица, улица...
Тени беззвучно спешащих
Тело продать,
И забвенье купить,
И опять погрузиться
В сонное озеро города — зимнего холода...

Спите. Забудьте слова лукезарных.

О, если бы не было в окнах
Светов мерцающих!
Штор и пунцовых цветочков!
Лиц, наклоненных над скучной работой!

Всё тихо.
Луна поднялась.
И облачных перьев ряды
Разбежались далеко.

Январь 1905

НЕВИДИМКА

Веселье в ночном кабаке,
Над городом синяя дымка.
Под красной зарей вдалеке
Гулает в полях Невидимка.

Танцует над топью болот,
Кольцом окружающих дома,
Протяжно зовет и поет
На голос, на голос знакомый.

Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые, продажные твари?
Кто небо запачкал в крови?
Кто вывесил красный фонарик?

И воет, как брошенный пес,
Мяучет, как сладкая кошка,
Пучки вечернеющих роз
Швыряет блудницам в окошко...

И ломится в черный притон
Ватага веселых и пьяных,
И каждый во мглу увлечен
Толпой проституток румяных...

В тени гробовой фонари,
Смолкает над городом грохот...
На красной полоске зари
Беззвучный качается хохот...

Вечерняя надпись пьяна
Над дверью, отвёртной в лавку...
Вмешалась в безумную давку
С расплеснутой чашей вина
На Звере Багряном — Жена.

16 апреля 1905

МИТИНГ

Он говорил умно и резко,
И тусклые зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.

А снизу устремлялись взоры
От многих тысяч глаз,
И он не чувствовал, что скоро
Пробьёт последний час.

Его движения были верны,]
И голос был суров,
И борода качалась мерно
В такт запыленных слов.

И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел.

Но те, внизу, не понимали
Ни чисел, ни имен,
И знаком долга и печали
Никто не заклеймен.

И тихий ропот поднял руку,
И прогнули огни.
Пронесся шум, подобный звуку
Упавшей головы.

Как будто свет из мрака брызнул,
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнула
Пронзительный свисток.

И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе.

Еще свистки ломали воздух,
И крик еще стоял,
А он уж лег на вечный отдых
У входа в шумный зал...

Но огонек блеснул у входа...
Другие огоньки...
И звонко брякнули у свода
Взведенные курки.

И промелькнуло в беглом свете,
Как человек лежал,

И как солдат ружье над мертвым
На перевес держал.

Черты лица бледней казались
От черной бороды,
Солдаты, молча, собирались
И строились в ряды.

И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
Был тихий ангел пролетавший,
И радость — без конца.

И были строги и спокойны
Открытые зрачки,
Над ними вытянулись стройно
Блестящие штыки.

Как будто, спрятанный у входа
За черной пастью дух,
Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул.

10 октября 1905

Вися над городом всемирным,
В пыли прошедшей заточен,
Еще монарха в утре лирном
Самодержавный клонит сон.

И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее,
И голос черни многострунnyй
Еще не властен на Неве.

Уже на дôмах веют флаги,
Готовы новые птенцы,
Но тихи струи невской влаги,
И слепы темные дворцы,

И, если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просиящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!

И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
И дикие вопли: Свергни! О, свергни!
Не будят жалости в сонной волне...

И в небе сером холодные светы
Одели Зимний Дворец царя.
И латник в черном¹ не даст ответа,
Пока не застигнет его заря.

Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмей опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезн ой
За древнюю сказку мертвым лечь...

18 октября 1905

¹ Статуя на кровле Зимнего дворца. (Прим..
Блока.)

Ты проходишь без улыбки,
Опустившая ресницы,
И во мраке над собором
Золотятся купола.

Как лицо твое похоже
На вечерних богородиц,
Опускающих ресницы,
Пропадающих во мгле...

Но с тобой идет кудрявый
Кроткий мальчик в белой шапке,
Ты ведешь его за ручку,
Не даешь ему упасть.

Я стою в тени портала,
Там, где дует резкий ветер,
Застилающий слезами
Напряженные глаза.

Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: — Богоматерь!
— Для чего в мой черный город
— Ты Младенца привела?

Но язык бессилен крикнуть.
Ты проходишь. За тобою

Над священными следами
Почивает синий мрак.

И смотрю я, вспоминая,
Как опущены ресницы,
Как твой мальчик в белой шапке
Улыбнулся на тебя.

29 октября 1905

— Что я могу? Своей алой кровью
— Нежность мою для тебя украсить...
— Верностью женской, вечной любовью
— Перстень — Страданье тебе сковать.

30 октября 1905

ПЕРСТЕНЬ — СТРАДАНЬЕ

Шел я по улице, горем убитый.
Юность моя, как печальная ночь,
Бледным лучом упадала на плиты,
Гасла, плелась и шарагалась прочь.

Горькие думы — лохмотья печалей —
Нагло просили на чай, на ночлег,
И пропадали средь уличных далей,
За вереницей зловонных телег.

Господи боже! Уж утро клубится,
Где, да и как этот день проживу?..
Узкие окна. За ними — девица.
Тонкие пальцы легли на канву.

Локоны пали на нежные ткани —
Верно, работала ночь напролет...
Щеки бледны от бессонных мечтаний,
И замирающий голос поет:

— Что я съумела, когда полюбила?
— Бросила мать и ушла от отда...
— Вот я с тобою, мой милый, мой милый...
— Перстень — Страданье нам свяжет

сердца

Пусть доживут свой век привычно
Нам жаль их сътость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

10 ноября 1905

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

К чему то вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сътость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Твое лицо бледней, чем было
В тот день, когда я подал знак,
Когда, замедлив, торопила
Ты легкий, предвечерний шаг.

Вот я стою, всему покорный,
У немердающей стены.
Что сердце? Свиток чудотворный,
Где страсть и горе сочтены!

Поверь, мы оба небо знали:
Звездой кровавой ты текла,
Я измерял твой путь в печали,
Когда ты падать начала.

Мы знали знанье несказанным
Одну и ту же высоту
И вместе пали за туманом,
Черта уклонную черту.

Но я нашел тебя и встретил
В неосвещенных воротах,
И этот взор — не меньше светел,
Чем был в туманных высотах!

Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою,

И лживый блеск созвездий мыльных
Под черным шелком узнаю!

Ты путь свершаешь предо мною,
Уходишь в тени, как тогда,
И то же небо за тобою,
И шлейф влачишь, как та звезда!

Не медли, в темных тенях кроясь,
Не бойся вспомнить и взглянуть.
Серебряный твой узкий пояс —
Сужденный магу млечный путь.

Март 1906

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скучой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»¹ кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

¹ «Истина в вине». — Ред.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906

Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицемист остер —
Над скучой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер.

Туда манят перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря.

Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она — бесстыдно упоительна
И унизительно горда.

За толстыми пивными кружками,
За сном привычной суеты
Сквозит вуаль, покрытый мушками,
Глаза и мелкие черты.

Чего же жду я, очарованный
Моей счастливою звездой,
И оглушенный и взволнованный
Вином, зарею и тобой?

Вздыхая древними поверьями,
Шелками черными шумна,

Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушина?

Средь этой пошлости таинственной.
Скажи, что делать мне с тобой —
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой?

28 апреля 1911

Передвечернею порою
Сходил я в сумерки с горы,
И вот передо мной — за мглою —
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом,
За нею шевелится мгла,
И по долинам, по оврагам
Вздыхают груди без числа.

— Сестра, откуда в дождь и холод
— Идешь с печальною толпой,
— Кого бичами выгнал голод
— В могилы жизни кочевой?

Вот подошла, остановилась
И факел подняла во мгле,
И тихим светом озарилось
Всё, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,
Я, содрогаясь, разглядел
Черты мучений невозможных
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,
И, улыбаясь мне, прошла —

Такой же дымной и воздушной,
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.

Сентябрь 1905

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
Вон там — в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

В ОКТЯБРЕ

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.

Снежинка легко пушинкою
Порхает на ветру,
И елка слабенькой вершинкою
Мотает на юру.

Жилось легко, жилось и молодо —
Прошла моя пора.
Вон — мальчик, посинев от холода,
Дрожит среди двора.

Всё, всё по старому, бывалому,
И будет, как всегда:
Лошадке и мальчишке малому
Не сладки холода.

Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.

А всё хочу свободной волею
Свободного житья,
Хоть нет звезды счастливой более
С тех пор, как заснул я!

Давно звезда в стакан мой канула, —
Ужели навсегда?...
И вот душа опять воспрянула:
Со мной- моя звезда!

Вот, вот — в глазах плывет манящая,
Качается в окне...
И жизнь начнется настоящая,
И крылья будут мне!

И даже всё мое имущество
С собою захвачу!
Познал, познал свое могущество! ...
Вот вскрикнул... и лечу!

Лечу, лечу к мальчишке малому,
Средь вихря и огня...
Всё, всё по старому, бывалому,
Да только — без меня!

Октябрь 1906

Ночь. Город угомонился.
За большим окном
Тихо и торжественно,
Как будто человек умирает.

Но там стоит просто грустный,
Расстроенный неудачей,
С открытым воротом,
И смотрит на звезды.

— Звезды, звезды,
— Расскажите причину грусти!

И на звезды смотрят.

— Звезды, звезды,
— Откуда такая тоска?

И звезды рассказывают.
Всё рассказывают звезды.

Октябрь 1906

ОКНА ВО ДВОР

Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра.

Я слышу — старинные речи
Проснулись глубоко на дне.
Вон теплятся желтые свечи,
Забытые в чьем-то окне.

Голодная кошка прижалась
У жолоба утренних крыши.
Заплакать — одно мне осталось,
И слушать, как мирно ты спишь.

Ты спишь, а на улице тихо,
И я умираю с тоски,
И злое, голодное Лихо
Упорно стучится в виски...

Эй, малый, взгляни мне в оконце!...
Да нет, не заглянешь — пройдешь...
Совсем я на зимнее солнце,
На глупое солнце похож.

Октябрь 1906

Хожу, брошу понурый,
Один в своей норе.
Придет шарманщик хмурый,
Заплачет на дворе...

О той свободной доле,
Что мне не суждена,
О том, что ветер в поле,
А на дворе — весна.

А мне — какое дело?
Брошу один, забыт.
И свечка догорела,
И маятник стучит.

Одна, одна надежда
Вон там, в ее окне.
Светла ее одежда,
Она придет ко мне.

А я, нахмурив брови,
Ей в сотый передам,
Как много портил крови
Знакомым и друзьям.

Опять нам будет сладко,
И тихо, и тепло...

В углу горит лампадка,
На сердце отлегло...

Зачем она приходит
Со мною говорить?
Зачем в иглу проводит
Веселенькую нить?

Зачем она роняет
Веселые слова?
Зачем лицо склоняет
И прячет в кружева?

Как холодно и тесно,
Когда ее здесь нет!
Как долго неизвестно,
Блеснет ли в окнах свет...

Лицо мое белее,
Чем белая стена...
Опять, опять сробыю,
Когда придет она...

Ведь нечего бояться
И нечего терять...
Но надо ли сказатьсь?
Но можно ли сказать?

И что ей молвить — нежной?
Что сердце расцвело?
Что ветер веет снежный?
Что в комнате светло?

7 декабря 1906

ПОЖАР

Понеслись, блеснули в очи
Огневые языки,
Золотые брызги ночи,
Городские мотыльки.

Зданье дымом затянуло,
Толпы темные текут...
Но вдали несутся гулы,
Светы новые бегут...

Крики брошены горстями
Золотых монет.
Над всененными конями
Факел стелет красный свет.

И, крутя живые спицы,
Мчатся вихрем колесницы,
Впереди — скакун с трубой
Над испуганной толпой.

Скок по камню тяжко звонок,
Голос хриплой меди тонок,
Расплеснулась, широка,
Гулкой улицы река.

На блестательные шлемы
Каплет снежная роса...
Дети ночи черной — где мы?...
Чьи взывают голоса?...

Нет, опять погаснут зданья,
Нет, опять он обманул, —
Отдаленного восстанья
Надвигающийся гул...

Декабрь 1906

НА ЧЕРДАКЕ

Что на свете выше
Светлых чердаков?
Вижу трубы, крыши
Дальних кабаков.

Путь туда заказан,
И на что — теперь?
Вот — я с ней лишь связан...
Вот — закрыта дверь...

А она не слышит —
Слышит — не глядит,
Тихая — не дышит,
Белая — молчит...

Уж не просит кушать...
Ветер свидет в щель.
Как мне любо слушать
Вьюжную свирель!

Ветер, снежный север,
Давний друг ты мне!
Подари ты веер
Молодой жене!

Подари ей платье
Белое, как ты!
Нанеси в кровать ей
Снежные цветы!

Ты дарил мне горе,
Тучи, да снега...
Подари ей зори,
Бусы, жемчуга!

Чтоб была нарядна
И, как снег, бела!
Чтоб глядел я жадно
Из того угла!...

Слаще пой ты, выюга,
В снежную трубу,
Чтоб спала подруга
В ледяном гробу!

Чтоб она не встала,
Не скрипела доска...
Чтоб не испугала
Милого дружка!

Декабрь 1906

КЛЕОПАТРА

Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим... В гробу царица ждет.

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертвa и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз,
Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Тебя рассматривает каждый,
Но, еслиб гроб твой не был пуст,
Я услыхал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

— Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах.

— Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

— Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь — будем оба
В веках равны перед судьбой?

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колышется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

— Тогда я исторгала гробы.
— Теперь исторгну жгучей всех
— У пьяного поэта — слезы,
— У пьяной проститутки — смех.

16 декабря 1907

НЕ ПРИШЕЛ НА СВИДАНЬЕ

Поздним вечером ждала
У кисейного окна
Вплоть до раннего утра.

Нету милого — ушла.
Нету милого — одна.
Даль мутна, светла, сыра.

Занавесила окно,
Засветила огонек,
Наклонилась над столом...

Загляни еще в окно!
Загляни еще разок!
Загляни одним глазком!

Льется, льется холодок.
Догорает огонек.

— Как он в губы целовал...
— Как невестой называл...

Рано, холодно, светло.
Ветер ломится в стекло.

Посмотри одним глазком,
Что там с миленьким дружком?...

Белый саван — снежный плат.
А под платом — голова...
Тяжело проспать в гробу.

Ноги вытянулись в ряд...
Протянулись рукава...
Ветер ломится в трубу...

Выйди, выйди из ворот...
Лейся, лейся, ранний свет,
Белый саван, распухай...

Приподымешь белый край —
И сомнений больше нет:
Провалился мертвый рот.

Февраль 1908

Снежная маска

Посвящается Н. Н. В.

СНЕГА

СНЕЖНОЕ ВИНО

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страха
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Я опрокинут в темных струях
И вновь вдыхаю, не любя,
Забытый сон о поцелуях,
О снежных выногах вокруг тебя.

И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гулает ветер голубой.

И как, глядясь в живые струи,
Не увидать себя в венце?
Твои не вспомнить поделуи
На запрокинутом лице?

29 декабря 1908

СНЕЖНАЯ ВЯЗЬ

Снежная мгла взвилась.
Легли сугробы кругом.

Да. Я с тобой незнаком.
Ты — стихов моих пленная вязь.

И тайно сплетая вязь,
Нити снежные тку и плету.

Ты не первая мне предалаась
На темном мосту.

Здесь — электрический свет.
Там — пустота морей,
И скована льдами злая вода.

Я не открою тебе дверей.
Нет.
Никогда.

И снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн...
Ты смотришь всё той же пленной душой
В купол всё тот же — звездный...

И смотришь в печали,
И снег синей...

Темные дали,
И блестательный бег саней...

И когда со мной встречаются
Неизбежные глаза, —

Глуби снежные вскрываются,
Приближаются уста...

Вышина. Глубина. Снеговая тишина.
И ты молчишь.
И в душе твоей безнадежной
Та же легкая, пленная грусть.

О, стихи зимы среброснежной!
Я читаю вас наизусть.

3 января 1907

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В снежной пene — предзакатная —
Ты встаешь за мной вдали,
Там, где в дали невозвратные
Повернули корабли.

Не видать ни мачт, ни паруса,
Что манил от снежных мест,
И на дальнем храме безрадостно
Догорел последний крест.

И на этот путь оснеженный,
Если встанешь — не сойдешь.
И душою безнадежной
Безъотзывное поймешь.

Ты услышишь с бедой пристани
Отдаленные рога.
Ты поймешь растущий издали
Зов закованной в снега.

3 января 1907

ВТОРОЕ КРЕЩЕНЬЕ

Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя,
И в новой снежной купели
Крещен вторым крещеньем я.

И в новый мир вступая, знаю,
Что люди есть, и есть дела.
Что путь открыт наверно к раю
Всем, кто идет путями зла.

Я так устал от ласк подруги
На застывающей земле.
И драгоценный камень выоги
Сверкает льдиной на челе.

И гордость нового крещенья
Мне сердце обратила в лед.
Ты мне сулишь еще мгновенья?
Пророчишь, что весна придет?

Но посмотри, как сердце радо!
Заграждена снегами твердь.
Весны не будет, и не надо:
Крещеньем третьим будет — Смерть.

3 января 1907

НАСТИГНУТЫЙ МЕТЕЛЬЮ

Выюга пела.
И кололи снежные иглы.
И душа леденела.
Ты меня настигла.

Ты запрокинула голову в высь.
Ты сказала: — Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь.

И указала на дальние города линии,
На поля снеговые и синие,
На бесцельный холод.

И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездну, где искры неслись,
Где снежинки пугливо вились...

Какие-то искры,
Каких-то снежинок неверный полет...
Как быстро — так быстро
Ты надо мной
Опрокинула свод
Голубой...

Метель взвилась,
Звезда сорвалась
За ней — другая...
И звезда за звездой
Понеслась,
Открывая
Вихрям звездным
Новые бездны.

В небе вспыхнули темные очи
Так ясно!
И я позабыл приметы
Страны прекрасной —
В блеске твоем, комета!
В блеске твоем, среброснежная ночь!

И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее
Закатилось навсегда.

Но бредет за дальним полюсом
Солнце сердца моего,
Льдяным скованное поясом
Безначалья твоего.

Так взойди ж в морозном инее,
Непомерный свет — заря!
Подними над далью синей
Жезл померкшего царя!

3 января 1907

ЕЕ ПЕСНИ

Не в земной темнице душной
Я гублю.
Душу вверь ладье воздушной —
Кораблю.
Ты пойми душой послушной,
Что люблю.

Взор твой ясный к выси звездной
Обрати.
И в руке твой меч железный
Опусти.
Сердце с дрожью бесполезной
Укроти.
Вихри снежные над бездной
Закрути.

Рукавом моих метелей
Задушу.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.

Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных хмелей
Напою.

4 января 1907

КРЫЛЬЯ

Крылья легкие раскину,
Стены воздуха раздвину,
Страны дальние покину.

Вейтесь, искристые нити,
Льдинки звездные, плывите,
Выюги дальние, вздохните!

В сердце — легкие тревоги,
В небе — звездные дороги,
Среброснежные чертоги.

Сны метели светлозмейной,
Песни выюги легковейной,
Очи девы чародейной.

И какие-то печали
Издали,
И туманные скрижали
От земли.
И покинутые в дали
Корабли.
И какие-то за мысом
Паруса.
И какие-то над морем
Голоса.

И расплеснут меж мирами,
Над забытыми пирами,—
Кубок долгой страстной ночи,
Кубок темного вина.

4 января 1907

ПРОЧЬ!

И опять открыли солнца
Эту дверь.
И опять влекут от сердца
Эту тень.

И опять, остерегая,
Знак дают,
Чтобы медленный растаял
В келье лед.

— Кто ты? Кто ты?
Скован дремой,
Пробудись!

От дремоты
Незнакомой
Исцелись!

Мы — делители истомы,
Нашей медленной заботе
Покорись!

В златоверхие хоромы,
К созидающей работе
Воротись!

— Кто вы? Кто вы?
Рая дщери!
Прочь! Летите прочь!

Кто взломал мои засовы?
Ты кому открыла двери,
Задремав, служанка — ночь?

Стерегут мне келью совы, —
Вам забвенью и потере
Не помочь!

На груди — снегов оковы,
В ледяной моей пещере —
Вихрь северная дочь!

Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вокруг чела.
Золотистый уголь в сердце
Мне вожгла!

Трижды северное солнце
Обошло подвластный мир!
Трижды северные фьорды
Знали тихий лёт ночей!
Трижды красные герольды
На кровавый звали пир!
Мне — мое открыло сердце
Снежный мрак ее очей!

Прочь лети, святая стая,
К старой двери
Умирающего рая!

Стерегите, злые звери,
Чтобы ангелам самим
Не поднять меня крылами,
Не вскружить меня хвалами,
Не пронзить меня дарами
И причастием своим!

У меня в померкшей келье —
Два меча.

У меня над ложем — знаки
Черных дней.

И струит мое веселье
Два луча.

То горят и дремлют маки
Злых очей.

января 1907

МАСКИ

ПОД МАСКАМИ

А под маской было звездно.
Улыбалась чья-то повесть,
Короталась тихо ночь.

И задумчивая совесть,
Тихо плавая над бездной,
Уводила время прочь.

И в руках, когда-то строгих,
Был бокал стеклянных влаг.
Ночь сходила на чертоги,
Замедляя шаг.

И позвякивали миги,
И звенела влага в сердце,
И дразнил зеленый зайчик
В догоревшем хрустале.

А в шапку дремали книги.
Там — к резной старинной дверце
Прилепился голый мальчик
На одном крыле.

9 января 1907

БЛЕДНЫЕ СКАЗАНЬЯ

- Посмотри, подруга, эльф твой
Улетел!
- Посмотри, как быстролетны
Времена!

Так смеется маска маске,
Злая маска, к маске скромной
Обратясь:

— Посмотри, как темный рыцарь
Скажет сказки третьей маске...

Темный рыцарь вокруг девицы
Заплетает вязь.

Тихо шепчет маска маске.
Злая маска — маске скромной...
Третья — смущена...

И еще темней — на темной
Завесе окна
Темный рыцарь — только мнится...

И стрельчатые ресницы
Опускает маска вниз.
Снится маске, снится рыцарь...
— Темный рыцарь, улыбнись...

Он рассказывает сказки,
Опершись на меч.
И она внимает в маске.
И за ними — тихий танец
Отдаленных встреч...

Как горит ее румянец!
Странен профиль темных плеч!
А за ними — тихий танец
Отдаленных встреч.

И на завесе оконной
Золотится
Луч, протянутый от сердца —
Тонкий цепкий шнур.

И потерянный, влюбленный
Не умеет прицепиться
Улетевший с книжной дверцы
Амур.

9 января 1907

СКВОЗЬ ВИННЫЙ ХРУСТАЛЬ

В длинной сказке
Тайно кроясь,
Бьет условный час.

В темной маске
Прорезь
Ярких глаз.

Нет печальней покрываала,
Тоньше стана нет...

— Вы любезней, чем я знала,
Господин поэт!

— Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...

На плече за тканью тусклой,
На конце ботинки узкой
Дремлет тихая змея.

9 января 1907

В УГЛУ ДИВАНА

Но в камине дозвенели
Угольки.

За окошком догорели
Огоньки.

И на выюжном море тонут
Корабли.

И над южным морем стонут
Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца
Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце,
Я — поэт!

Я, какие хочешь, сказки
Расскажу,

И, какие хочешь, маски
Приведу.

И пройдут любые тени
При огне,

Странных очерки видений
На стене.

И любой колени склонит
Пред тобой...

И любой цветок уронит
Голубой...

9 января 1907

ОНИ ЧИТАЮТ СТИХИ

Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы
Мой ум метелью замели.

Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? — Бог весть!
Ты твердо знаешь: в книгах — сказки,
А в жизни — только проза есть.

Но для меня неразделимы.
С тобою — ночь, и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки.

Не будь и ты со мною строгой,
И маской не дразни меня.
И в темной памяти не трогай
Иного — страшного — огня.

10 января 1907

ОБРЕЧЕННЫЙ

Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи...
Вот меня из жизни вывела
Снежным серебром стези...

Как над тою дальней прорубью
Тихий пар струит вода,
Так своею тихой поступью
Ты свела меня сюда.

Завела, сковала взорами
И рукою обняла,
И холодными призорами
Белой смерти предала...

И в какой иной обители
Мне влечиться суждено,
Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?

13 января 1907

НЕТ ИСХОДА

Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила...

Тихо смотрит в меня,
 Темноокая.

И, колеблемый вьюгами Рока,
Я взвиваюсь, звеня,
Пропадаю в метелях...

И на снежных постелях
Спят цари и герои
 Минувшего дня
В среброснежном покое —
О, Твои, Незнакомая, снежные жертвы!

И приветно глядят на меня:
 — Восстань из мертвых!

13 января 1907

НА СНЕЖНОМ КОСТРЕ

И взвился костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.

Молодые ходят ночи,
Сестры — пряхи снежных эзим,
И глядят, открывши очи,
Завивают белый дым.

И крылатыми очами
Нежно смотрит высота.
Вейся, легкий, вейся, пламень,
Увивайся вокруг креста!

В снежной маске, рыцарь милый.
В снежной маске ты гори!
Я-ль не пела, не любила,
Поделуев не дарила
От зари и до зари?

Будь и ты моей любовью,
Милый рыцарь, я стройна,
Милый рыцарь, снежной кровью
Я была тебе верна.

Фаина

Я была верна три ночи,
Завивалась и звала,
Я дала глядеть мне в очи,
Крылья легкие дала...

Так гори, и яр, и светел,
Я же — легкою рукой
Размету твой легкий пепел
По равнине снеговой.

13 января 1907

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя...

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы, да огоньки?

Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромен дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костер!

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль...

Декабрь 1906

Ушла. Но гиацинты ждали,
И день не разбудил окна,
И в легких складках женской шали
Цвела ночная тишина.

В косых лучах вечерней пыли,
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханье нильских лилий
Меня пленять и опьянять.

Мне слабость этих рук знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч.

Но в имени твоем — безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозовых.

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни,

И темным взором острой боли
Живое сердце полосни.

Впопы ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.

31 марта 1907

ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

1

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины зааляет гроздь, —
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь, —

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред лицом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, —

Тогда — просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах — такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой — будет ли причален
К моей распятой высоте?

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.

И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланитах.
Но в темных орбитах
Взгляднули, сверкнули глаза невозможным...

И радость, и слава —
Всё в этом сияньи бездонном,
И дальнем.

Но смятые травы
Печальны,
И листья крутятся в лесу обнаженном...

И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне всё жальче, и жальче...

О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

Под ветром холодные плечи
Твои обнимать так отрадно:
Ты думаешь — нежная ласка,
Я знаю — восторг мятежа!

И теплятся очи, как свечи
Ночные, и слушаю жадно —
Шевелится страшная сказка,
И звездная дышит межа...

О, в этот сияющий вечер
Ты будешь всё так же прекрасна,
И, верная темному раю,
Ты будешь мне светлой звездой!

Я знаю, что холоден ветер,
Я верю, что осень бесстрастна!
Но в темном плаще не узнаешь,
Что ты пировала со мной...

И мчимся в осенние дали,
И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги,
Холодные выси мои...

Часы торжества миновали —
Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге
Холодные губы твои.

3 октября 1907

СНЕЖНАЯ ДЕВА

Она пришла из дикой дали —
Ночная дочь иных времен.
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.

Но сфинкса с выщербленным лицом
Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.

Бывало, выюга ей осыпет
Звездами плечи, грудь и стан, —
Всё снится ей родной Египет
Сквозь тусклый северный туман.

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла.

Ей стали нравиться громады,
Уснувшие в ночной глухи,
И в окнах тихие лампады
Слились с мечтой ее души.

Она узнала зыбь и дымы,
Огни, и мраки, и дома —
Весь город мой непостижимый —
Непостижимая сама.

Она дарит мне перстень выюги
За то, что плащ мой полон звезд,
За то, что я в стальной кольчуге,
И на кольчуге — строгий крест.

Она глядит мне прямо в очи,
Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.

Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстью рассечь.

И я, как вождь враждебной рати,
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.

17 октября 1907

ЗАКЛЯТИЕ ОГНЕМ И МРАКОМ

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растряченный в пустыне.

Лермонтов

1

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные весы
И колодцы земных городов!
Освещенный простор поднебесий
И томления рабых трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

2

Приявший мир, как звонкий дар,
Как злата горсть, я стал богат.
Смотрю: растет, шумит пожар —
Глаза твои горят.

Как стало жутко и светло!
Весь город — яркий сноп огня,
Река — прозрачное стекло,
И только — нет меня...

Я здесь, в углу. Я там, распят.
Я пригвожден к стене — смотри!
Горят глаза твои, горят,
Как черных две зари!

Я буду здесь. Мы все сгорим:
Весь город мой, река, и я...
Крести крещеньем огневым
О, милая моя!

26 октября 1907

3

Я неверную встретил у входа:
Уронила платок — и одна.
Никого. Только ночь и свобода.
Только жутко стоит тишина.

Говорил ей несвятые речи,
Открывал ей все тайны с людьми,
Никому не поведал о встрече,
Чтоб она прошептала: возьми...

Но она ускользающей птицей
Полетела в ненастье и мрак,
Где взвился огневой багряницей
Засыпающий праздничный флаг.

И у светлого дома, тревожно,
Я остался вдвоем с темнотой.
Невозможное было возможно,
Но возможное — было мечтой.

23 октября 1907

4

Перехожу от казни к казни
Широкой полосой огня.

Ты только невозможным дразнишь,
Немыслимым томишь меня...

И я, как темный раб, не смею
В огне и мраке потонуть.
Я только робкой тенью вею,
Не смея в небо заглянуть...

Как ветер, ты целишь жадно,
Как осень шлейфом шелестя,
Храня в темнице безотрадной
Меня, как бедное дитя...

Рабом безумным и покорным
До времени таюсь и жду.
Под этим взором, слишком черным,
В моем пылающем бреду...

Лишь утром смею покидать я
Твое высокое крыльцо,
А ночью тонет в складках платья
Мое безумное лицо...

Лишь утром воронам бросаю
Свой хмель, свой сон, свою мечту...
А ночью снова — знаю, знаю
Твою земную красоту!

Что быть бесстрастным? Что —
крылатым?
Сто раз бичуй и укори,
Чтоб только быть на миг проклятым
С тобой — в огне ночной зари

Октябрь 1907

Пойми же, я спутал, я спутал
Страницы и строки стихов,
Плащом твои плечи окутал,
Остался с тобою без слов...

Пойми, в этом сумраке — магом
Стою над тобою и жду
Под бьющимся праздничным флагом,
На страже, под ветром, в бреду...

И ветер поет и пророчит
Мне в будущем — сон голубой...
Он хочет смеяться, он хочет,
Чтоб ты веселилась со мной!

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы,
На белом, на легком снегу!

О будущем ветер не скажет,
Не скажет осенний цветок,
Что милая тихо развязает
Свой шелковый, черный платок...

Что только звенящая снится,
И душу паящая тень...
Что сердце — летящая птица...
Что в сердце — щемящая лень...

21 октября 1907

В бесконечной дали коридоров
Не она ли там плачет вдали?
Не меняль этой музыкой споров
От нее в этот час отвели?

Ничего вы не скажете, люди,
Не поймете, что темен мой храм.
Трепетанья, вздыхавия груди
Воспаленным открыты глазам.

Сердце — легкая птица забвений
В золотой пролетающий час:
То она, в опьянены кружений,
Пляской тризну справляет о вас.

Никого ей не надо из скромных,
Ей не ум и не глупость нужны,
И не любит наверное темных,
Прислоненных, как я, у стены...

Сердце, взвейся, как легкая птица,
Полети ты, любовь разбуди,
Истоми ты истомой ресницы,
К бледно-смуглым плечам припади!

Сердце бьется, как птица томится —
То вдали закружилась она —
В легком танце, летящая птица,
Никому, ничему не верна...

23 октября 1907

По улицам метель метет,
Свивается, шатается.
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

Ведет — и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.

Я подхожу и отхожу,
И замер в смутном трепете:
Вот только перейду межу —
И буду в струйном лепете.

И шепчет он — не отогнать
(И воля уничтожена):
— Пойми: уменьем умирать
— Душа облагорожена.

— Пойми, пойми, ты одинок,
— Как сладки тайны холода...
— Взгляни, взгляни в холодный ток,
— Где всё навеки молодо...

Бегу. Пусти, проклятый, прочь!
Не мучь ты, не испытывай!
Уйду я в поле, в снег и в ночь,
Забсьюсь под куст ракитовый!

Там воля всех вольнее воль
Не приневолит вольного,
И болей всех больнее боль
Вернет с пути окольного!

26 октября 1907

О, что мне закатный румянец,
Что злые тревоги разлук?
Всё в мире — кружящийся танец
И встречи трепещущих рук!

Я бледные вижу ланиты,
Я поступь лебяжью ловлю,
Я слушаю говор открытый,
Я тонкое имя люблю!

И новые сны, залетая,
Тревожат в усталом пути...
А всё пелена сугорская
Не может меня занести...

Неситесь, кружитесь, томите,
Снежинки — холодная весть...
Души моей тонкие нити,
Порвитесь, развейтесь, сгорите...

Ты, холод, мой холод, мой зимний,
В душе моей — страстное есть...
Стань, сердце, взывающий схимник,
Умрите, умрите, вы, гимны...

Вновь летит, летит, летит,
Звенит, и снег крутит, крутит.
Налетает вихрь
Снежных искр...

Ты виденьем, в пляске нежной,
Посреди подруг
Обошла равниной снежной
Быстротечный
Бесконечный круг...

Слышу говор твой открытый,
Вижу бледные ланиты,
В ясный взор гляжу...

Всё, что не скажу,
Передам одной улыбкой...
Счастье, счастье! С нами ночь!
Ты опять тропою зыбкой
Улетаешь прочь...
Заметая, запевая,
Стан твой гибкий
Вихрем туча снеговая
Обдала,
Отняла...

И опять метель, метель
Вьет, поет, кружит...
Всё — виденья, всё — измени...
В снежном кубке, полном пены,
Хмель
Звенит...
Заверти, замчи,

Сердце, замолчи,
Замети девичий след —
Смерти нет!
В темном поле
Бродит свет!
Горькой доле —
Много лет...

И вот опять, опять в возвратный
Пустилась пляс...
Метель поет. Твой голос — внятный.
Ты понеслась
Опять по кругу,
Земному другу
Сверкнув на миг...

Какой это танец? Каким это светом
Ты дразнишь и манишь?
В кружении этом
Когда ты устанешь?
Чьи песни? И звуки?
Чего я боюсь?
Щемящие звуки
И — вольная Русь?
И словно мечтанье, и словно круженье,
Земля убегает, вскрывается твердь,
И словно безумье, и словно мученье,
Забвенье и удаль, смятенье и смерть, —
Ты мчишься! Ты мчишься!
Ты бросила руки
Вперед...
И песня встает...
И странным сияньем сияют черты...

Удалая пляска!
О, песня! О, удали! О, гибель!
О, маска...
Гармоника — ты?

1 ноября 1907

9

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лягушки,
Весенние цветки!

Там с посвистом, да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я — руки вскинула.
В широкий пляс пошла,
Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная — пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты — ночь, и вся ты — тьма,
И вся ты — во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

9 ноября 1907

10

Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом.

Под праздник — другим будет сладко,
Другой твои песни споет,
С другими лихая солдатка
Пойдет, подбочась, в хоровод.

Ты знай про себя, что не хуже
Другого плясал бы — вон как!
Что мог бы стянуть и потуже
Свой золотом шитый кушак!

Что ростом и станом ты вышел
Статнее и краше других,
Что та молодица повыше
Других молодиц удалых!

В ней сила играющей крови,
Хоть смуглые щеки бледны,
Тонки ее черные брови,
И строгие речи хмельны...

Ах, сладко, как сладко, так сладко
Работать, пока рассветет,

И знать, что лихая солдатка
Ушла за село, в хоровод!

26 октября 1907

11

И я опять затих у ног —
У ног давно и тайно милой,
Заносит выюга на порог
Пожар метели белокрылой...

Но имя тонкое твое
Твердить мне дивно, больно, сладко...
И деловать твой шлейф украдкой,
Когда метель поет, поет...

В хмельной и злой своей темнице
Заночевало, сердце, ты,
И тихие твои ресницы
Смежили снежные цветы.

Как будто, на средине бега,
Я под метелью изнемог,
И предо мной возник из снега
Холодный, неживой цветок...

И с тайной грустью, с грустью нежной,
Как снег спадает с лепестка,
Живое имя Девы Снежной
Еще слетает с языка...

8 ноября 1907

ИНOK

Никто не скажет: я безумен.
Поклон мой низок, лик мой строг.
Не позовет меня игумен
В ночи на строгий свой порог.

Я грустным братьям — брат
примерный,
И рясу черную несу,
Когда с угра, походкой верной
Сметаю с бледных трав росу.

И, подходя ко всем иконам,
Как строгий и смиренный брат,
Творю поклон я за поклоном
И за обрядами обряд.

И кто поймет, и кто узнает,
Что ты сказала мне: молчи...
Что воск души блаженной тает
На яром пламени свечи...

Что никаких молитв не надо,
Когда ты ходишь по реке
За монастырскою оградой
В своем монашеском платке.

Что вот — меня цветистым хмелем
Безумно захлестнула ты,
И потерял я счет неделям.
Моей преступной красоты.

6 ноября 1907

Всю жизнь ждала. Устала ждать.
И улыбнулась. И склонилась.
Волос распущенная прядь
На плечи темные спустилась.

Мир не велик и не богат —
И не глядеть бы взором черным!
Ведь только люди говорят,
Что надо ждать и быть покорным...

А здесь — какая-то свирель
Поет надрывно, жалко, тонко:
— Качай чужую колыбель,
— Ласкай немилого ребенка...

Я тоже — здесь. С моей судьбой
Над лирой, гневной, как секира,
Такой приниженный и злой,
Торгуюсь на базарах мира...

Я верю мгле твоих волос
И твоему великолепью.
Мой сирый дух — твой верный пес,
У ног твоих горячо чешу...

И вот опять, и вот опять,
Встречаясь с этим темным взглядом,

Хочу по имени назвать,
Дышать и жить с тобою рядом..

Мечта! Чтó жизни сон глухой?
Отрава — вслед иной отраве...
Я изменю тебе, как той,
Не изменения, не лукавя...

Забавно жить! Забавно знать,
Что под луной ничто не ново!
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!

И никому заботы нет,
Чтó людям дам, что ты дала мне:
А люди — на могильном камне
Начертят прозвище: Пoэт.

13 января 1908

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,
Сколько не размышляйте о концах и началах,
Всё же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека
Который любит землю и небо

Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

6 февраля 1918

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух Макбета.
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без
волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что деловались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло
и Франчески.

6 февраля 1908

Я помню длительные муки:
Ночь догорала за окном;
Ее заломленные руки
Чуть брезжили в луче дневном.

Вся жизнь, ненужно изжитая,
Пытала, унижала, жгла;
А там, как призрак возрастая,
День обозначил купола;

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги;
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя круги;

И утро длилось, длилось, длилось..
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез.

4 марта 1908

Своими горькими слезами
Над нами плакала весна.
Огонь мерцал за камышами,
Дразня лихого скакуна...

Опять звала бесчеловечным,
Ты, отданная мне давно! ...
Но ветром буйным, ветром встречным
Твое лицо опалено...

Опять — бессильно и напрасно —
Ты отстранилась от огня...
Но даже небо было страстно,
И небо было за меня! ...

И стало всё равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И всё равно, чей вздох, чей шепот,—
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так — сведены с ума мгновеньем —
Мы отдавались вновь и вновь,

Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

Теперь, когда мне звезды ближе,
Чем та неистовая ночь,
Когда еще безмерно ниже
Ты пала, униженья дочь,

Когда один с самим собою
Я проклинаю каждый день, —
Теперь проходит предо мною
Твоя развенчанная тень...

С благоволеньем? Иль с укором?
Иль ненавида, мстя, скорбя?
Иль хочешь быть мне приговором? —
Не знаю: я забыл тебя.

20 ноября 1908

Вольные мысли

(Посв. Г. Чулкову)

О СМЕРТИ

Всё чаще я по городу брожу.
Всё чаще вижу смерть — и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.

Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на грудах щебня,
А за глухим забором — ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздувые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом — внезапный крик:
— Упал! Упал! — кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенёк,
Увидел всё зараз: вдали летели
Жокеи в пестром — к тонкому столбу.

Чуть чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремена.

А за листвой кудрявеньких бересок,
Так близко от меня — лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.

Как будто, век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...

И вот повисла

Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтюзе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек
Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблескивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал — с одной упорной
мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,

Уж силой ног не удержать седла,
И утлы взмахнулись стремена,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг — в мозгу прошли все мысли.
Единственные нужные. Прошли —
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит наверх.

Так хорошо и вольно.

Однажды брел по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была еще синей от белой пены.
В отстегнутые вороты рубах
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды желтого песку,
Таскали — то кирничик, то полено,
То бревнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери — с отвислыми грудями
Под грязным платьем — ждали их, ругались
И, надавав затреции, отбиравали
Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль.
И снова, воротясь гурьбой веселой,
Ребятки начинали воровать:
Тот — бревнышко, другой — кирничик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:
— Упал! Упал! — опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пестрая толпа рубах неслась
Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу — лежала сотка.
Один тащил багор.

А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубахе и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог.
И длинное растянутое тело,
С которого ручьем лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щеку приложил к груди
Намокшей, и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ,
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько вышел?
Потом все стали тихо отходить,
И я пошел своим путем, и слушал,
Как истовый, но выпивший рабочий
Авторитетно говорил другим,
Что губит каждый день людей вино.

Пойду еще бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова

Тупа, и мысли вялы...

Сердце!

Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

Хочу,

Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!

Июнь—июль 1907

НАД ОЗЕРОМ

С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый —
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит — и не надо.

Как женщина усталая, оно

Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом,
И отняло у неба весь закат.

Все исполняют прихоти его:

Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафор на дальнем берегу,
В нем отразивший свой огонь зеленый,
Как раз, на самой розовой воде.
К нему ползет трехглазая змея
Своим единственным стальным путем,
И, прежде свиста, озеро доносит
Ко мне — ее ползучий, хриплый шум.
Я на уступе. Надо мной — могила
Из темного гранита. Подо мной —
Белеющая в сумерках дорожка.

И, кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается: такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил
Скрестивший руки, стройный и влюбленный
в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут
Влюбленные друг в друга: нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.
А озеру — красавице — ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там — самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное прогонит
Затянутого в китель офицера
С вихляющимся задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!

Она глядит, как будто, за туманы,
За озеро, за сосны, за холмы,
Куда-то так далеко, так далеко,
Куда и я не в силах заглянуть...

О, нежная! О, тонкая! — И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!... — И задумчиво глядит
В клубящийся туман... Ах, как прогонит!..
А офицер уж близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица — нос,
И плоский блин, приплюснутый
Фуражкой...
Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
Его гляделки в ясные глаза!..
Я даже выдвинулся из-за склепа...
И вдруг... протяжно чмокает ее,
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хоочу! Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил — незримый и высокий...
Кричу! — Эй, Фёкла! Фёкла! — И они
Испуганы, сконфужены, не знают,
Откуда шишки, хохот и песок...
Он ускоряет шаг, не забывая
Вихлять проворно задом, и она,
Прижавшись крепко к кителю, почти
Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!
И, выбегая на крутой обрыв,

Я отражаюсь в озере... Мы видим
Друга друга: — Здравствуй! я кричу...
И голосом красавицы — леса
Прибрежные ответствуют мне: —

Здравствуй!
Кричу: — Прощай! — они кричат: —
Прощай!

Лишь озеро молчит, влача туманы,
Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны... .

И белая задумчивая ночь
Несет меня домой. И ветер свищет
В горячее лицо. Вагон летит...
И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягким кресле,
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная.
«Цветы меня не радуют. Пишите...
«Простите и сожгите этот бред...»

И томные слова... И длинный почерк,
Усталый, как ее усталый шлейф...
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах.

Июнь—июль 1907

В СЕВЕРНОМ МОРЕ

Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там, переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.

А там — закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один —
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в море,
Подгнившего, сереющего мола,
Прочти все надписи: «Навек с тобой».
«Здесь были Коля с Катей». «Диодор
«Иеромонах и послушник Исидор
«Здесь были. Дивны божии дела», —
Прочти все надписи, выходим в море
В пузатой и смешной моторной лодке.

Бензин пыхтит и пахнет. Два крыла
Бегут в воде за нами. Вьется быстрый след
И, обогнув скучающих на пляже,
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,
Мы выбегаем многоцветной рабью
В просторную ласкающую соль.

На горизонте, за спиной, далёко
Безмолвным заревом стоит пожар.
Рыбачий «Вольный» остров распростерт
В воде, как плоская спина морского
Животного. А впереди, вдали —
Огни судов и сноп лучей бродячих
Проектора таможенного судна.
И мы уходим в голубой туман.
Косым углом торчат над морем вехи,
Метелками фарватер оградив,
И далеко — от вехи и до вехи —
Рыбачьих шхун маячат паруса...

Над морем — штиль. Под всеми парусами
Стоит красавица — морская яхта.
На тонкой мачте — маленький фонарь,

Что камень драгоценной фероньеры,
Горит над матовым челом небес.

На острогрудой, в полной тишине,
В причудливых сплетениях снастей,
Сидят, скрестивши руки, люди в светлых
Панамах, сдвинутых на строгие черты.
А посреди, у самой мачты, молча,
Стоит матрос, весь темный, и глядит.

Мы огибаем яхту, как прилично,
И вежливо и тихо говорит
Один из нас: — «Хотите на буксир?»
И с важной простотой нам отвечает
Суровый голос: — «Нет. Благодарю».

И, снова обогнув их, мы глядим
С молитвенной и полною душою
На тихо уходящий силуэт
Красавицы под всеми парусами...
На драгоценный камень фероньеры,
Горящий в смуглых сумерках чела.

Июнь — июль 1907

В ДЮНАХ

Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой». «Твоя». «Люблю». «Навеки
твой».

Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —
«Сияющий и новый день. Приди.
«Бери меня, торжественная страсть.
«А завтра я уйду — и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней — всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен — нищей красотою
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в темный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража
Лениво отдыхала на песчаном

Обрыве, где кончалось полотно.
Там открывалась новая страна —
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом — вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был, как звуки рога.
Она же оставляла легкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она — и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочут платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
«И завтра ночь. Я не уйду отсюда,

Июнь-июль 1901

Июнь—июль 1901

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли лучшие и наиболее характерные стихотворения Блока, выбранные из трехтомного собрания его лирики, а также такие центральные в творчестве Блока произведения, как «Песня Гаэтана» (из драмы «Роза и Крест»), «Двенадцать» и «Скифы». Издательские условия не позволили включить в сборник всю законченную Блоком часть поэмы «Возмездие». Но, чтобы дать читателю хотя бы некоторое представление об этом крупнейшем и одном из самых важных произведений Блока, в сборник введены пять фрагментов поэмы, имеющие самостоятельное значение и в свое время опубликованные Блоком в газетах и альманахах в качестве отдельных стихотворений. Фрагментам присвоены заглавия, данные им автором в газетно-альманахных публикациях.

В настоящем издании полностью соблюдено принятие Блоком распределение стихотворений по отделам и циклам его трехтомника. Принцип циклизации имеет в отношении Блока особо важное и принципиальное значение; расположение стихотворений в строго хронологическом по-

рядке нарушило бы композиционную стройность и органичность архитектоники книг Блока. В силу тех же соображений «малые» блоковские циклы, за единичными исключениями, печатаются в сборнике в полном составе.

Все произведения, в том числе и фрагменты поэмы «Возмездие», печатаются в окончательных редакциях — по тексту однотомного издания сочинений Блока (Л., 1936), сверенному с автографами и авторизованными печатными источниками.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«На небе зарево. Глухая ночь мертв». В 1918 г. Блок заметил по поводу этого стихотворения: «Мистика начинается. Средневековый город Дубровской бересовой рощи».

Экклезиаст. Переложение XII главки ветхозаветной «Книги Экклезиаста».

«Сторожим у входа в терем». Эпиграф взят из стихотворения А. Белого «Золотое руно», служившего поэтическим манифестом московского символистского кружка «аргонавтов» (см. вступительную статью, стр. XVI).

Болотные чертенята. А. М. Ремизов (род. в 1877 г.) — прозаик-символист, эстетизировавший и стилизовавший

реакционно-националистическую романтику белорусского средневековья; с 1921 г. белоэмигрант.

Старушка и чертенята. Посвящение носит шуточный характер: «Григорий Е.» — еж, живший в Шахматове.

Ночная Фиалка. Эта поэма, по словам Блока, является «почти точным описанием» виденного им «изумительного сна».

Влюблённость. По свидетельству Блока, это стихотворение внушиено старинным замком немецкого города Фридберга, описанию которого посвящена его статья «Девушка розовой калитки и муравьиной дарь».

Балаганчик. В связи с этим стихотворением у Блока возник замысел одноименной лирической драмы.

У моря. Блок отметил «влияние Мэтерлинка», сказавшееся в этом стихотворении.

«Вот он — Христос — в цепях и розах». Блок отметил, что это стихотворение «навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее выражение у [художника] Нестерова».

«Милый брат! Завечерело»
Обращено к А. Белому.

Русь. В одном из изданий Блок снабдили это стихотворение следующим примечанием: „Мутный взор колдуна“, чарование злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девочка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившегося милого — все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний, — см. мою статью „О заговорах и заклинаниях“.

Балаган. Эпиграф взят из пьесы А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Эдмонд Кин (1787—1833) — знаменитый английский актер, прославившийся в ролях шекспировского репертуара.

«Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!» Блок указал, что «драматической поэмой Ибсена [«Пер Гюнт»] навеяны и женственный образ Сольвейг и другие образы этого стихотворения».

Петр. По словам Блока, стихотворение было внушено ему памятником Петру I работы Фальконета («Медный всадник»).

Невидимка. На Звере Баурином — Жена — образ «Великой Блудницы» из Апокалипсиса.

Митинг. Блок отметил сказавшееся в этом стихотворении влияние «Баллады Рэдингской тюрьмы» О. Уайльда в переводе К. Бальмонта.

«Вися над городом всемирным». Это и следующее стихотворение («Еще прекрасно серое небо») были написаны в день опубликования царского манифеста о «конституции». Предок царственно-чугунный — имеется в виду памятник Петру I («Медный всадник»).

Сытые. Было написано по поводу массовых забастовок в Петербурге, в октябре 1905 г.

Незнакомка. Тема этого стихотворения была развита Блоком в одноименной лирической драме:

«Там дамы щеголяют модами». Вариант предыдущего стихотворения, обработанный в 1911 г.

Снежная маска. Цикл посвящен И. Н. Волоховой, актрисе драматического театра В. Ф. Комиссаржевской.

Снежная дева. Сфинкс с выщербленным лицом — один из древних фиванских сфинксов, находящихся в Ленинграде, на набережной Невы.

Своими горькими слезами. Развенченная тень — слова Пушкина.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Блок. Статья Вл. Орлова....	III
КНИГА ПЕРВАЯ (1898—1904)	
Ante lucem (1898—1900)	
«Пусть светит месяц — ночь темна»	3
«Милый друг! Ты юною душою»	4
«Гамаюн, птица вещая»	5
«Дышит утро в окошко твое»	6
«Не легли еще тени вечерние»	7
«Шли мы стезею лазурною»	8
«Не призывай и не сули»	9
«На небе зарево. Глухая ночь мертв»	10
«То отолосок юных дней»	11
«Твой образ чудится невольно»	12
«Отрекись от любимых творений»	13
«Ищу спасенья»	14
Стихи о Прекрасной Даме (1901—1902)	
Вступление («Отдых напрасен. Дорога крута»)	15
«Я вышел. Медленно сходили»	16
«Ветер принес издалека»	17

«Тихо вечерние тени»	18
«Ты отходишь в сумрак алый»	19
«Ночью сумрачной и дикой»	20
«Одинокий, к тебе прихожу»	21
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо»	22
«Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко»	23
«Внемля зову жизни смутной»	24
«Я жду призыва, ищу ответа»	25
«Не жди последнего ответа»	26
«Признак истинного чуда»	27
«Сумерки, сумерки вешние»	28
«Ты горишь над высокой горою»	29
«Встану я в утро туманное»	30
«Снова ближе вечерние тени»	31
«Ночью выюга снежная»	32
«Вечереющий сумрак, поверь»	33
«Бегут неверные дневные тени»	34
«Сны раздумий небывалых»	35
«Мы живем в старинной келье»	36
«Верю в Солнце Завета»	37
«Странных и новых ищу на страницах»	38
«Люблю высокие соборы»	39
«Там — в улице стоял какой-то дом»	40
«Мы встречались с тобой на закате»	41
«Брошу в стенах монастыря»	42
«Я, отрок, зажигаю свечи»	43
«Золотистою долиной»	44
«Я вышел в ночь — узнать, понять»	45
Экклесиаст	47
«Вхожу я в темные храмы»	49
«Разгораются тайные знаки»	50

Распутыя (1902—1904)

«Я их хранил в приделе Иоанна»	51
«Стою у власти, душой одинок»	52
«Еще бледные зори на небе»	53
«Царица смотрела заставки»	54
«Запевающий сон, зацветающий цвет»	56
«Целый год не дрожало окно»	57
«Зимний ветер играет терновником»	58
«Отворяются двери — там мерданья»	59
«Я вырезал посох из дуба»	60
«У забытых могил пробивалась трава»	61
«По городу бегал черный человек»	62
«Просыпаюсь я — и в поле туманно»	63
«Скрипка стонет под горой»	64
Вербная суббота.	65
Фабрика.	66
«Светлый сон, ты не обманешь»	67
«Мой любимый, мой князь, мой жених»	69
«Сторожим у входа в терем»	70
«Вот он — ряд гробовых ступеней»	71

КНИГА ВТОРАЯ (1904—1908)

Вступление («Ты в поля отошла без возврата»)	75
--	----

Пузыри земли

«На перекрестке»	76
Болотные чертенятки	78
Болотный попик	80
«На весеннем пути в теремок»	82
«Белый конь чуть ступает усталой ногой»	83

Старушка и чертенята	84
Пляски осенние	86

Ночная Фиалка 88

Разные стихотворения

«Шли на приступ. Прямо в грудь»	99
Влюбленность	100
«Она веселой невестой была»	102
Балаганчик	104
Поэт	106
У моря	108
Осенняя воля	109
«Не мани меня ты, воля»	111
«Девушка пела в церковном хоре»	112
«В лапах косматых и страшных»	113
«Там, в ночной завывающей стуже»	114
«Утихают светлый ветер»	115
«В голубой далекой спаленке»	116
«Вот он — Христос — в цепях и розах»	118
«Милый брат! Завечерело»	119
Вербочки	121
«Прошли года, но ты — все та же»	122
Ангел-хранитель	123
«Шлейф, забрызганный звездами»	125
Русь	126
Сын и мать	128
Тишина цветет	130
«О жизни, дологревшей в хоре»	132
Балаган	134
«Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!»	135
Усталость	136

«Я	«Зачатый в ночь, я в ночь рожден»	137
«С	«С каждой весною пути мои круче»	139
«Е	«Она пришла с заката»	140

Снежная маска

Город

«П	Петр	141
«З	«Вечность бросила в город»	143
«П	«Город в красные пределы»	144
«З	«Поднимались из тьмы погребов»	145
«О	«В кабаках, в переулках, в извилах»	147
«Я	«Барка жизни встала»	149
«У	«Улица, улица»	150
«П	Невидимка	151
«П	Митинг	153
«С	«Вися над городом всемирным»	156
Ве	«Еще прекрасно серое небо»	157
Ф	«Ты проходишь без улыбки»	158
«С	Перстень — Страданье	160
«М	Сытые	162
«С	«Твое лицо бледней, чем было»	164
«В	Незнакомка	166
	«Там дамы щеголяют модами»	169
Вс	«Передвечернею порою»	171
	Холодный день	173
	В октябре	175
	«Ночь. Город угомонился»	177
	Окна во двор	178
	«Хожу, брожу понурый»	179
	Пожар	181
	На чердаке	183
	Клеопатра	185
	Не пришел на свиданье	187

Снега

Снежное вино	189
Снежная вязь	190
Последний путь	192
Второе крещенье	193
Настигнутый метелью	194
Ее песни	196
Крылья	197
Прочь!	199

Маски

Под масками	202
Бледные сказанья	203
Сквозь винный хрусталь	205
В углу дивана	206
Они читают стихи	208
Обреченный	209
Нет исхода	210
На снежном костре	211

Фаина

«Вот явилась. Заслонила»	213
«Ушла. Но гиацинты ждали»	215
Осенняя любовь:	
1. «Когда в листве сырой и ржавой»	217
2. «И вот уже ветром разбиты, убиты»	218
3. «Под ветром холодные плечи»	218
Снежная дева	220

Заклятие огнем и мраком:

1. «О, весна без конца и без краю»	222
2. «Прилавший мир, как звонкий дар»	223
3. «Я неверную встретил у входа»	224
4. «Перехожу от казни к казни»	224
5. «Пойми же, я спутал, я спутал»	226
6. «В бесконечной дали коридоров»	227
7. «По улицам метель метет»	228
8. «О, что мне закатный румянец»	229
9. «Гармоника, гармоника!»	232
10. «Работай, работай, работай»	233
11. «И я опять затих у ног»	234

Инок	235
«Всю жизнь ждала. Устала ждать»	237
«Когда вы стоите на моем пути»	239
«Она пришла с мороза»	241
«Я помню длительные муки»	243
«Своими горькими слезами»	244

Вольные мысли	
О смерти	246
Над озером	251
В северном море	255
В дюнах	258
Примечания	261

СПИСОК ОПЕЧАТОК

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
XVIII	16 св.	Соловьевство	Соловьевство
XXX	11 "	Соч.	(Соч.)
XLVIII	9 "	инженерно-строительной	инженерно-строительной
52	1 сн.	4 ноября	14 ноября
100	7 "	ветер	ветер
104	1 "	Взыхающих	Вздыхающих
201	1 "	января	8 января
209	1 "	13 января	12 января
221	1 "	октября	17 октября
240	1 "	1918	1908

Блок, том I.